

Annotation

Предпоследний роман, опубликованный при жизни Мопассана, «Сильна как смерть» написан в жанре «светского психологического романа», мэтром которого в эти же годы считался Бурже, и рисует драматическую историю любви популярного парижского художника Оливье Бертена и дамы из высшего света.

Певец любви в самых разных ее видах и мастер психологического анализа, Мопассан раскрывает перед читателем природу страсти, от ее зарождения до трагической развязки. Тема романа «Сильна как смерть» была ранее очерчена в одной из мопассановских новелл (герой на закате лет влюбляется в дочь своей многолетней возлюбленной), но тут она разработана с гораздо большей психологической тонкостью и убедительно подводит к драматическому финалу: прекрасное чувство не выдерживает испытаний, внешние и внутренние препятствия оказываются непреодолимыми, а герои неготовыми к счастью.

- [Ги де Мопассан](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Ги де Мопассан
Сильна как смерть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

День проникал в просторную мастерскую сквозь окно в потолке. То был большой квадрат ослепительного голубого сияния, светлая дверь в бескрайнюю лазурную даль, в которой быстро мелькали летящие птицы.

Но, едва проникнув в высокое, строгое, задрапированное помещение, радостное сияние дня смягчалось, утрачивало свою яркость, меркло в складках тканей, угасало в портьерах и тускло освещало темные углы, где лишь золоченые рамы горели как пламя. Казалось, здесь находились в заточении тишина и покой, тот покой, который всегда царит в жилище художника, где душа человека вся ушла в работу. В этих стенах, где мысль обитает, где мысль созидает, истощается в яростных усилиях, все начинает казаться усталым и подавленным, как скоро она успокаивается. После вспышек жизни все здесь словно бы замирает, все отдыхает — и мебель, и драпировки, и холсты с неоконченными портретами знаменитостей; можно подумать, что жилище изнемогает от усталости своего хозяина, что оно трудилось вместе с ним, участвуя в его ежедневно возобновляющейся битве. В помещении стоял одуряющий, смешанный запах красок, скипидара и табака, которым пропитались и ковры и кресла; гнетущую тишину нарушали лишь отрывистые, звонкие крики ласточек, пролетавших над открытой рамой, да немолчный, слитный гул Парижа, еле слышный на верхних этажах. Все застыло, и только голубое облачко дыма, образовывавшееся от частых затяжек папиросой, которую, растянувшись на диване, медленно жевал Оливье Бертен, непрерывно поднималось ввысь.

Взор Бертена терялся в далеком небе; он искал сюжет для новой картины. Что он напишет? Этого он еще не знал. Бертен не был решительным, уверенным в себе художником; это была натура беспокойная, и во время своих творческих поисков он беспрестанно то вдохновлялся чем-то, то вновь охладевал. Он был богат, знаменит, он добился всевозможных почестей, но даже и теперь, на склоне дней, этот человек, в сущности, не знал, к какому идеалу он стремился. Он получил Римскую премию; он отстаивал традиции, он, вслед за многими своими предшественниками, воссоздавал великие исторические события, но потом осовременил свои сюжеты и начал писать людей, здравствовавших и поныне, хотя все-таки пользовался классическими аксессуарами. Умница, энтузиаст, упорный труженик, правда, подвластный переменчивой мечте, влюбленный в свое искусство, которым владел в совершенстве, он достиг,

благодаря постоянным размышлениям, замечательного мастерства и большой гибкости таланта, гибкости, до некоторой степени возникшей из колебаний и попыток работать во всех жанрах. Быть может, внезапное увлечение света его изящными, изысканными и тщательно выполненными произведениями повлияло на формирование его характера и помешало ему стать таким, каким он стал бы в иных условиях. После триумфального начала своей карьеры безотчетное желание нравиться постоянно томило его и незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения. К тому же это желание нравиться проявлялось у него во всевозможных формах и способствовало его славе.

Его приятные манеры, его привычки, уход за собой, его давняя репутация ловкого силача, искусного фехтовальщика и наездника составляли своего рода небольшой почетный эскорт вокруг его все возрастающей известности. После Клеопатры он сразу стал знаменитостью: Париж неожиданно влюбился в него, сделал его своим избранником, прославил, и он внезапно превратился в одного из тех блестящих светских художников, которые гуляют в Булонском лесу, которых оспаривают друг у друга салоны, которых еще молодыми принимают во Французский институт. И он вошел туда как победитель, признанный всем городом.

Так и вела его Фортуна до приближения старости — вела, лелея и лаская.

И вот, наслаждаясь чудесным днем, ликующим за стенами, он искал поэтический сюжет. Впрочем, он слегка осоловел после завтрака и папиросы и теперь, глядя ввысь, мечтал и мысленно уже набрасывал на фоне лазурного неба быстро проносившиеся фигуры, грациозных женщин в аллеях парка или на тротуарах, влюбленные пары на берегу реки, — все изящные видения, которые тешили его мысль. Переменчивые образы, расплывчатые и сменяющие друг друга, вырисовывались на небе в красочных видениях художника, а ласточки, в своем нескончаемом полете пронизывавшие пространство, словно пущенные стрелы, казалось, хотели стереть эти образы, зачеркнуть их, словно то были настоящие рисунки.

Он никак не мог на чем-то остановиться. Все мелькавшие перед ним лица были похожи на те, что давно уже были им написаны, все возникавшие перед ним женщины были родными дочерьми или сестрами тех, которые уже воплотил его каприз художника, и пока еще смутный страх, который, однако, неотступно преследовал его целый год, — страх, что он выдохся, что фантазия его истощилась, что вдохновение его иссякло, — становился явственно ощутимым при этом обзоре его

творчества, при этом бессилии изобрести что-то новое, открыть что-то неведомое.

Он лениво встал и принялся искать в своих папках, среди незаконченных набросков что-нибудь такое, что могло бы навести его на какую-то мысль.

Беспрерывно пуская клубы дыма, он перелистывал эскизы, наброски, рисунки, которые хранились у него под ключом в большом старинном шкафу, но, скоро наскучив тщетными поисками, он пал духом от усталости, бросил папиросу и, насвистывая какой-то затасканный мотивчик, наклонился и вытащил из-под стула валявшуюся там тяжелую гимнастическую гирию.

Отдернув другой рукой драпри с зеркала, служившего ему для того, чтобы он мог следить за правильностью поз, уточнять перспективу и как бы проверять общее впечатление от картины, он стал перед ним и начал упражняться, глядя на свое отражение.

Когда-то он славился в мастерских своей силой, позже, в свете, — своей красотой. Теперь возраст давил на него, ложился на него всей своей тяжестью. У этого высокого, широкоплечего человека с могучей грудью, как у старого борца, появилось брюшко, несмотря на то, что он по-прежнему ежедневно фехтовал и постоянно ездил верхом. Голова его все еще была прекрасна, так же красива, как в былые времена, но красива уже по-иному. Белые волосы, густые и короткие, делали еще более живыми его темно-карие глаза под широкими сидящими бровями. Его длинные усы, усы старого солдата, все еще оставались почти черными и придавали его лицу редко встречающееся выражение энергии и гордости.

Стоя перед зеркалом, сдвинув пятки и выпрямив корпус, он проделывал все предписанные ему упражнения с помощью двух чугунных шаров — он держал их в вытянутой, мускулистой руке — и довольным взглядом следил за ее уверенными и мощными, замысловатыми движениями.

Внезапно, в глубине зеркала, в котором целиком отражалась вся его мастерская, он сперва увидел, что заколыхалась портьера, потом увидел женскую головку, одну только головку, которая поворачивалась то вправо, то влево.

— Вы дома? — слышался голос у него за спиной.

— Да, — ответил он, обернувшись. И, бросив гирию, побежал к дверям с несколько деланной легкостью.

Вошла женщина в светлом платье.

— Вы занимались гимнастикой, — сказала она после рукопожатия.

— Да, я распустил хвост, как павлин, а вы застали меня врасплох, — отвечал он.

— В швейцарской никого не было, — со смехом продолжала она, — а так как я знаю, что в это время вы всегда одни, я и вошла без доклада.

Он смотрел на нее.

— Как вы хороши, черт побери! И что за шик!

— Да на мне новое платье. Недурно? Как вы находите?

— Прелестно! И как гармонично! Да, ничего не скажешь: сейчас знают толк в оттенках.

Он ходил вокруг нее, пробовал ткань на ощупь, кончиками пальцев меняя расположение складок, как человек, который разбирается в женских туалетах не хуже дамского портного: его художественное воображение, его атлетическая сила всю жизнь служили ему для того, чтобы с помощью тончайшего кончика кисти рассказывать зрителю об изменчивых, изысканных модах, раскрывать женскую грациозность, таящуюся и запрятанную то в бархатную или шелковую кольчугу, то под снегом кружев.

— Очень удачно. Очень вам идет, — наконец объявил он.

Она не мешала ему любоваться ею и радовалась, что она хороша и что нравится ему.

Уже не первой молодости, но все еще красивая, не слишком высокая, полноватая, но свежая благодаря тому блеску, который придает телу сорокалетней женщины сочную зрелость, она напоминала одну из тех роз, которые распускаются бесконечно долго, до тех пор, пока, наконец, не расцветут чересчур пышно — тогда они облетают за один час.

Эта миловидная блондинка сохранила юную, живую грацию парижанок, которые никогда не стареют, которые обладают поразительной жизненной силой, неисчерпаемым запасом сопротивляемости и которые, заботясь прежде всего о своем теле и оберегая свое здоровье, в течение двадцати лет остаются все такими же, нестареющими и торжествующими.

— А почему меня не целуют? — подняв вуаль, спросила она.

— Я курил, — отвечал он.

— Фу! — воскликнула она, но протянула губы:

— Что ж поделаешь!

И уста их встретились.

Он взял у нее зонтик и снял с нее весенний жакет проворными, уверенными движениями, привычными к этим интимным действиям. Когда же она уселась на диван, он участливо спросил:

— У вашего мужа все благополучно?

— Превосходно! Сейчас он должен выступить в Палате.

— А-а! О чем же это?

— Разумеется, либо о свекле, либо о репейном масле, — о чем же еще?

Ее муж, граф де Гильруа, депутат от Эры, стал в свое время специалистом по всем вопросам сельского хозяйства.

Графиня, заметив в одном углу эскиз, которого она еще не видела, подошла к нему и спросила:

— Что это?

— Это я начал пастель — портрет княгини де Понтев.

— Вот что, — серьезно сказала она, — если вы опять возьметесь за женские портреты, я закрою вашу мастерскую. Знаю я, к чему приводит такая работа.

— Э! Второй портрет Ани мне не написать! — возразил он.

— Надеюсь!

Она рассматривала начатую пастель как женщина, которая разбирается в вопросах искусства. Она отошла подальше, снова приблизилась, щитком приложила руку ко лбу, отыскивала место, откуда эскиз был освещен лучше всего, и наконец объявила, что довольна картиной.

— Очень хорошо. Вам превосходно удастся пастель. Он был польщен.

— Вы так думаете? — спросил он негромко.

— Ну да, это ведь тонкое искусство, которое требует большого вкуса. Это не для мазил.

Уже двенадцать лет она развивала в нем склонность к изысканному искусству, боролась с его порывами вернуться к обыденной жизни, и, высоко ценя светское изящество, мягко склоняла художника к своему идеалу несколько манерной и искусственной грациозности.

— Эта княгиня хороша собой? — спросила она. Ему пришлось сообщить ей множество самых разнообразных подробностей, тех мельчайших подробностей, которые так смакует ревнивое и изощренное женское любопытство, начиная с замечаний по поводу туалета и кончая суждениями об уме.

— А она не кокетничает с вами? — внезапно спросила графиня де Гильруа.

Он засмеялся и поклялся, что нет.

Положив обе руки на плечи художника, она впилась в него взглядом. Жгучий интерес заставлял дрожать ее круглые зрачки в синеве радужной оболочки, испещренной черными крапинками, напоминавшими чернильные брызги.

— Не кокетничает? Это правда? — снова прошептала она.

— Правда, правда.

— Впрочем, это меня не беспокоит, — заметила она. — Теперь уж вы никого, кроме меня, не полюбите. С другими покончено, да, покончено! Слишком поздно, мой бедный друг!

Он ощутил ту легкую, но мучительную боль, которая щемит сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте, и тихо сказал:

— Ни вчера, ни сегодня, ни завтра — никогда в моей жизни никого не было и не будет, кроме вас, Ани.

Она взяла его за руку и, снова подойдя к дивану, усадила рядом с собой.

— О чем вы думали?

— Искал сюжет для картины.

— Какой сюжет?

— Да не знаю, вот и ищу.

— А что вы делали в последние дни?

Ему пришлось рассказать ей о всех, кто перебивал у него за это время, о вечерах и обедах, о разговорах и сплетнях. Все эти ничтожные и обыденные мелочи светской жизни одинаково интересовали их обоих. Мелкое соперничество, гласные или же подозреваемые связи, окончательные приговоры, вынесенные одним и тем же лицам, одним и тем же событиям, одним и тем же суждениям, тысячу раз произнесенные и тысячу раз выслушанные, увлекали их умы и топили их в мутной и бурной реке, именуемой «Парижская жизнь». Они знали всех и у всех были приняты: он — как художник, перед которым раскрыты все двери, она — как элегантная жена депутата-консерватора; они были натренированы в этом виде спорта — во французской болтовне, тонкой, банальной, любезно-недоброжелательной, бесплодно-остроумной, вульгарно-изысканной болтовне, которая создает своеобразную и весьма завидную репутацию тому, кто больше других стал боек на язык в этом пустопорожнем злословии.

— Когда вы придете к нам обедать? — неожиданно спросила графиня де Гильеуа.

— Когда хотите. Назначьте день.

— В пятницу. У меня будут герцогиня де Мортмен, Корбели и Мюзадзе, и мы отпразднуем возвращение моей дочери — она приезжает сегодня вечером. Только никому не говорите, это секрет.

— Ну, конечно, приду! Я буду счастлив снова видеть Аннету, — ведь я не видел ее уже три года!

— Да, в самом деле: уже три года!

Аннета воспитывалась сначала в Париже, у родителей, а потом

сделалась последней и страстной привязанностью своей почти слепой бабушки, г-жи Параден, которая круглый год жила в Эре, в принадлежавшей ее зятю усадьбе Ронсьер. Время незаметно шло, старушка все дольше и дольше удерживала ребенка у себя, и, так как супруги Гильруа почти полжизни проводили в этом имении, куда их постоянно призывали всевозможные дела, — то хозяйственные, то избирательные, — в конце концов они решили привозить девочку в Париж лишь изредка, да и самой ей больше нравились свобода и приволье деревенской жизни, нежели городская жизнь в четырех стенах.

За последние три года она и вовсе ни разу не побывала в городе: чтобы в ней не пробудилась какая-либо неожиданная склонность, графиня предпочитала держать ее так далеко от Парижа до тех пор, пока не настанет день, назначенный для ее вступления в свет. Графиня де Гильруа приставила к ней двух гувернанток с отличными аттестатами и участила свои поездки к матери и дочери. К тому же пребывание Аннеты в усадьбе стало почти необходимостью для старушки.

В былые времена Оливье Бертен ежегодно проводил полтора-два месяца в Ронсьере, но последние три года ему пришлось из-за ревматизма ездить на отдаленные курорты, а эти отлучки до такой степени усиливали его любовь к Парижу, что, возвратившись, он уже не в силах был снова его покинуть.

Вначале было решено, что девушка вернется только осенью, но у отца внезапно возник план относительно ее замужества, и он вызвал ее, чтобы она немедленно познакомилась с маркизом де Фарандалем, которого он прочил ей в женихи. Однако проект этот держался в глубокой тайне, в которую графиня де Гильруа посвятила только Оливье Бертена.

— Значит, ваш муж принял твердое решение?

— Да, и, по-моему, это очень удачное решение. И они перешли на другую тему.

Она снова вернулась к живописи: ей хотелось уговорить его написать Христа. Он упирался, полагая, что картин о жизни Христа и без того написано достаточно, но она стояла на своем, настаивала, горячилась.

— О, если бы я умела рисовать, я показала бы вам свой замысел; это было бы очень ново и очень смело. Его снимают с креста, и человек, высвободивший его руки, не удержал его тело. Оно падает и опускается прямо на толпу, а та поднимает руки, чтобы поддержать его и не дать ему упасть на землю. Вы меня хорошо понимаете?

Да, он понимал, он даже находил этот замысел оригинальным, но теперь его влекло к современности, и, глядя на свою подругу, которая

лежала на диване, свесив ножку, обутую в туфельку и сквозь почти прозрачный чулок казавшуюся обнаженной, воскликнул:

— Смотрите, смотрите: вот что надо писать, вот в чем смысл жизни — в женской ножке, которая высовывается из-под платья! В это можно вложить все на свете: истину, желание, поэзию... Ничего нет грациозней, ничего нет красивей, чем женская ножка, и какая таинственность в том, что чуть выше она уже скрыта, спрятана и лишь угадывается под платьем!

Усевшись на полу по-турецки, он снял туфельку с ножки, и ножка, освободившись от своего кожаного футляра, зашевелилась как резвый зверек, неожиданно выпущенный на волю.

А Бертен твердил:

— Как это тонко, как изысканно, как это чувственно! Это чувственнее руки! Дайте руку, Ани!

На ней были длинные перчатки до локтя. Чтобы снять одну из них, она взяла ее за край и быстро сдернула, вывернув наизнанку, — так снимают кожу со змеи. Показалась рука, белая, полная, округлая, обнажившаяся так быстро, что невольно возникла мысль о дерзкой наготы всего тела.

Она протянула руку, свесив кисть. На ее белых пальцах сверкали кольца; розовые, очень длинные ногти казались ласковыми коготками, выпущенными этой крошечной женской лапкой.

Оливье Бертен нежно поворачивал ручку, любясь ею. Он перебирал пальцы, как живые игрушки, и приговаривал:

— Какая это забавная штука! Какая забавная! Какой прелестный маленький инструмент, искусный, умный — ведь это он создает все на свете: книги, кружева, дома, пирамиды, локомотивы, пирожные, он ласкает, и это — лучший из его трудов.

Он снимал с ее руки кольца одно за другим, и когда дошла очередь до золотого ободка обручального кольца и оно соскользнуло с пальца, с улыбкой тихо сказал:

— Закон! Воздадим ему почести!

— Глупо! — ответила слегка задетая графиня. Он всегда отличался насмешливым нравом, чисто французской склонностью примешивать иронию к самым серьезным чувствам, и нередко огорчал графиню де Гильеуа, сам того не желая: он не умел понять тончайшие движения женской души и проникнуть в нее, как он говорил, святая святых. Особенно сердилась она всякий раз, как он с оттенком фамильярной шутки заговаривал об их связи — связи столь долгой, что он называл ее прекраснейшим примером любви в девятнадцатом веке.

— Вы поведете нас с Аннетой на вернисаж? — спросила она,

прерывая наступившее молчание.

— Конечно, поведу!

Она принялась расспрашивать его о лучших картинах предстоящей выставки, открытие которой должно было состояться через две недели. Но вдруг спохватилась и вспомнила о том, что ей надо куда-то ехать.

— Ну, отдайте мне мою туфлю. Я ухажу, — объявила она.

Он задумчиво играл легким башмачком, рассеянно вертя его в руках.

Нагнувшись, он поцеловал ножку, которая, казалось, парила между ковром и платьем, которая больше не двигалась и уже слегка остыла, и надел на нее туфельку; графиня де Гильруа встала и подошла к столу: бумаги, распечатанные письма — и старые, и только что полученные, — валялись там рядом с чернильницей, в которой, как водится у художников, чернила давным-давно высохли. Она с любопытством разглядывала этот хаос, перебирала листки, приподнимала их и смотрела, что под ними.

— Вы разрушите мой беспорядок, — сказал он, подходя к ней.

— Кто этот господин, который хочет купить ваших Купальщиц? — не отвечая, спросила она.

— Какой-то американец; я его не знаю.

— А вы условились насчет Уличной женщины?

— Да. Десять тысяч.

— Правильно сделали. Это мило, но ничего из ряду вон выходящего. До свиданья, дорогой!

Она подставила ему щеку, которой он коснулся спокойным поцелуем, и исчезла за портьерой, произнеся вполголоса:

— В пятницу, в восемь. Я не хочу, чтобы вы меня провожали, вы же знаете. До свиданья!

Когда она ушла, он снова закурил и принялся медленно ходить по мастерской. Все их прошлое разворачивалось перед ним. Он припоминал давно забытые подробности, восстанавливал их в памяти, связывая одну с другой и увлекаясь в одиночестве этой погоней за воспоминаниями.

Это началось в ту пору, когда он был восходящим светилом на горизонте парижской живописи; художники тогда всецело завладели благосклонностью публики и занимали великолепные особняки, доставшиеся им ценой нескольких мазков.

Бертен вернулся из Рима в 1864 году; несколько лет после этого он не имел успеха и жил в неизвестности, но в 1868 году он выставил свою Клеопатру, и неожиданно критика и публика превознесли его до небес.

В 1872 году, после войны, после смерти Анри Реньо, создавшей всем его собратьям своего рода пьедестал славы, Иокаста с ее рискованным

сюжетом создала Бертену репутацию смелого художника, хотя осторожность и умеренность его исполнения была оценена даже академиками. В 1873 году первая медаль, полученная им за Алжирскую еврейку, которую он написал, вернувшись из путешествия в Африку, поставила его вне конкурса, а начиная с 1874 года, после портрета княгини де Салиа, свет стал расценивать его как лучшего современного портретиста. С того дня он сделался любимцем Парижской Женщины и парижских женщин, самым смелым и самым изобретательным певцом их изящества, их осанки, их характера. Через несколько месяцев все знаменитые женщины Парижа просили, как милости, чтобы Бертен воссоздал их облик на полотне. Проникнуть к нему было нелегко и платить приходилось очень дорого.

И вот, так как он был в моде и наносил визиты на правах обыкновенного светского человека, в один прекрасный день он встретил у герцогини де Мортмен молодую женщину в глубоком трауре; она выходила в тот момент, когда он входил, и, столкнувшись с ней в дверях, он был поражен этим прекрасным видением, этим воплощением изящества и изысканности.

Он спросил, кто она такая, и узнал, что это графиня де Гильруа, жена мелкопоместного нормандского дворянина, что траур она носит по свекру, что она умна, что она пользуется большим успехом и что все ищут знакомства с нею.

Взволнованный встречей с этой женщиной, пленившей его взор, взор художника, он воскликнул:

— Ах, вот чей портрет я охотно написал бы!

На следующий день слова эти были переданы графине, и в тот же вечер он получил письмецо на голубоватой бумаге, слегка надушенное и чуть косо написанное твердым, тонким почерком; оно гласило:

«Милостивый государь!

Герцогиня де Мортмен, только что меня посетившая, уверяет, что Вы хотели бы избрать меня для создания одного из Ваших шедевров. Я весьма охотно предоставила бы себя в Ваше распоряжение, если бы была уверена в том, что Вы не бросаете слова на ветер и что в моей скромной внешности Вы действительно видите нечто такое, что могло бы быть воспроизведено Вами и доведено до степени совершенства.

Примите, милостивый государь, уверения в совершеннейшем моем уважении.

Анна де Гильруа».

Он ответил вопросом, когда он сможет представиться графине, и был запросто приглашен к завтраку в ближайший понедельник.

Она жила на бульваре Мальзерб, во втором этаже роскошного, недавно выстроенного дома. Через просторную гостиную, обтянутую голубым шелком, укрепленным деревянными, белыми и золочеными багетами, художника провели в будуар, оклеенный обоями во вкусе минувшего века, кокетливыми светлыми обоями в стиле Ватто, игривые сюжеты которых были выполнены в столь нежных тонах, что казалось, мастера, расписывавшие эти обои, грезили о любви.

Не успел он сесть, как появилась графиня. Ее походка была такой легкой, что он даже не слышал, как она прошла через соседнюю комнату, и удивился при виде ее. Она непринужденно протянула ему руку.

— Так вы в самом деле хотите написать мой портрет? — спросила она.

— Буду счастлив, сударыня.

Узкое черное платье делало ее очень тоненькой и придавало ей совсем еще молодой и в то же время серьезный вид, с которым не гармонировало ее улыбающееся лицо в ореоле белокурых волос.

Вошел граф, держа за руку девочку лет шести.

— Мой муж, — представила его графиня де Гильруа.

Это был невысокий человек, безусый, с впалыми щеками; кожа на его гладко выбритом лице была темноватой.

Он напоминал не то священника, не то актера: те же длинные, зачесанные назад волосы, та же учтивость, те же полукруглые, глубокие складки у рта, спускавшиеся со щек на подбородок и образовавшиеся вследствие привычки говорить перед аудиторией.

Он поблагодарил художника весьма пространно: эта манера говорить обличала в нем оратора. Давно уже хотелось ему заказать портрет жены, и, разумеется, выбор его пал бы на г-на Оливье Бертена, если бы он не боялся отказа, ибо ему известно, как его осаждают подобными просьбами.

После бесконечного обмена любезностями они условились, что на другой день граф де Гильруа привезет жену в мастерскую художника. Правда, граф спросил, не лучше ли подождать, пока кончится глубокий траур, но художник объявил, что он хочет передать свое первое впечатление и этот поразительный контраст между лицом — таким живым, таким тонким, сияющим под золотыми волосами, — и суровостью черного платья.

И вот, на другой день она приехала вместе с мужем, а потом стала

приезжать с дочкой, которую сажали за стол, заваленный книжками с картинками.

Оливье Бертен, по своему обыкновению, вел себя в высшей степени сдержанно. Светские женщины немного смущали его: ведь он их почти не знал. Он считал их хитрыми и в то же время глупенькими, лицемерными и опасными, пустыми и докучными. С женщинами полусвета у него были мимолетные приключения, которыми он был обязан своей известностью, своему увлекательному остроумию, изящной фигуре, фигуре атлета, и смуглому, решительному лицу. Этих женщин он даже предпочитал другим, он любил их свободное обращение и свободные разговоры: завсегда тай мастерских и кулис, он привык к их легким, забавным, веселым нравам. Он бывал в свете не для души, а для славы: там он тешил свое честолюбие, там он получал комплименты и заказы, там он рисовался перед льстившими ему прекрасными дамами, за которыми никогда не ухаживал. Ни разу не позволил он себе в их обществе рискованных шуток или пикантных анекдотов, — он считал этих дам ханжами, — и потому прослыл человеком с хорошими манерами. Всякий раз, когда одна из этих дам приезжала к нему позировать, он, как бы ни была она обходительна, стремясь ему понравиться, чувствовал то неравенство происхождения, которое не позволяет смешивать художников со светскими людьми, хотя они и встречаются в обществе. За улыбками, за восхищением, у женщин всегда отчасти искусственным, он угадывал подсознательную, внутреннюю сдержанность существа, считающего, что оно принадлежит к высшей расе. Самолюбие его слегка уязвлялось, а манеры становились еще более учтивыми, почти высокомерными, и вместе с затаенным тщеславием выскочки, с которым обращаются как с ровней принцы и принцессы, в нем пробуждалась гордость человека, обязанного своему уму тем положением, которого другие достигают благодаря своему происхождению. О нем говорили не без некоторого удивления: «Он прекрасно воспитан!» Это удивление и льстило ему и в то же время задевало, ибо указывало на некую грань.

Нарочито церемонное, степенное обращение художника несколько смущало графиню де Гильруа: она не знала, о чем говорить с таким холодным человеком, слывшим умницей.

Усадив дочку, она располагалась в кресле, рядом с начатым эскизом, и, смотря по тому, чего требовал от нее художник, старалась придать своему лицу то или иное выражение.

В середине четвертого сеанса он внезапно прекратил работу.

— Что вас больше всего интересуется в жизни? — спросил он.

Она растерялась.

— Право, не знаю! А почему вы спрашиваете?

— Мне нужно, чтобы в ваших глазах появилось счастливое выражение, а этого я еще не видел.

— Ну тогда постарайтесь заставить меня разговориться; я так люблю поболтать!

— Вы веселая?

— Очень.

— Так давайте поболтаем.

Это «давайте поболтаем» он произнес самым серьезным тоном и, снова принимаясь за работу, коснулся нескольких тем разговора, стараясь отыскать какую-нибудь точку соприкосновения. Они начали с обмена наблюдениями над общими знакомыми, потом заговорили о себе, что всегда является самой приятной и самой увлекательной темой разговора.

На другой день они почувствовали себя при встрече более непринужденно, и Бертен, видя, что он ей нравится и что ей с ним интересно, стал рассказывать кое-какие эпизоды из своей творческой жизни и с присущей ему склонностью фантазировать дал волю своим воспоминаниям.

Графиня, привыкшая к натянутым остромам салонных литераторов, была поражена этой бесшабашной веселостью, откровенностью, с которой он говорил о разных предметах, освещая их светом иронии, и сразу начала отвечать ему в том же духе, изящно, тонко и смело.

За одну неделю она покорила и обворожила его своей жизнерадостностью, откровенностью и простотой. Он совершенно забыл о своих предубеждениях против светских женщин и готов был решительно отстаивать точку зрения, что только они обаятельны и привлекательны. Стоя перед полотном и с головой уйдя в работу, он то приближался к нему, то отступал, точно сражаясь с ним, и в то же время продолжал изливать свои заветные мысли, как будто он давно уже знал эту красивую, словно сотканную из солнца и траура светловолосую женщину в черном, которая сидела напротив, смеялась, слушая его, и отвечала ему так весело и так оживленно, ежеминутно меняя позы.

Порой он отходил от нее и, зажмурив один глаз, наклонялся, чтобы охватить свою модель во всей ее целокупности, порой подходил совсем близко, чтобы разглядеть малейшие особенности ее лица, самые быстролетные его выражения, чтобы уловить и передать все, что есть в женском лице помимо видимой оболочки, — то излучение идеальной красоты, тот отблеск чего-то неведомого, ту сокровенную и опасную, присущую каждой

женщине прелесть, которая заставляет терять голову от любви именно этого, а не другого мужчину.

В один прекрасный день девочка остановилась перед полотном и с величайшей серьезностью спросила:

— Скажите, пожалуйста, это мама?

Он взял ее на руки и поцеловал: он был польщен этой наивной похвалой сходству его картины с моделью.

В другой раз, когда она, казалось, сидела совершенно спокойно, они внезапно услышали тоненький грустный голосок:

— Мама, мне скучно!

И художник был так растроган этой первой жалобой, что на следующий день приказал принести в мастерскую чуть ли не целый игрушечный магазин.

Маленькая Аннета, удивленная, довольная, но по-прежнему задумчивая, заботливо расставила игрушки так, чтобы можно было брать то одну, то другую — какую ей сейчас захочется. И за этот подарок она полюбила художника так, как любят дети: она инстинктивно стала обращаться с ним дружески ласково, а это и делает детей такими милыми и очаровательными.

Графине де Гильруа сеансы начали нравиться. По случаю траура она этой зимой была лишена светских развлечений, делать ей было нечего, и весь смысл ее жизни сосредоточился в этой мастерской.

Ее отец, богатый и радушный парижский коммерсант, умер несколько лет тому назад, а вечно болевшую мать забота о здоровье приковывала к постели на полгода, таким образом, она, будучи совсем еще юной девушкой, стала полной хозяйкой дома: она умела принимать гостей, занимать их разговором, улыбаться, разбираться в людях, знала, как и с кем надо обращаться, быстро и легко применялась к обстоятельствам, была гибка и проницательна. Когда графа де Гильруа представили ей в качестве жениха, она тотчас сообразила, какие выгоды принесет ей этот брак, и дала согласие совершенно добровольно, как рассудительная девушка, прекрасно понимающая, что все иметь нельзя и что в любом положении надо взвешивать и плохое и хорошее.

В свете все искали знакомства с нею; благодаря ее уму и красоте вокруг нее образовался рой поклонников, она видела это, но ни разу не утратила сердечного покоя: сердце у нее было столь же рассудительно, сколь и ум.

Со всем тем она была кокетлива, но ее кокетство, осмотнительное, хотя и задорное, никогда не заходило слишком далеко. Ей нравились

комплименты, ей было приятно возбуждать желания, но лишь в том случае, когда она могла делать вид, что не замечает этого; насладившись за вечер фимиамом, который воскурляли ей в какой-нибудь гостиной, она потом отлично спала, как спит женщина, выполнившая свою миссию на земле. Эта жизнь, которою она жила уже семь лет, не утомляла ее, не казалась ей однообразной: она обожала нескончаемую светскую суету, — и, однако, порой ей хотелось чего-то иного. Мужчины ее круга — адвокаты, политики, финансисты и просто болтавшиеся без дела завсегдатаи клубов — забавляли ее в известном смысле, забавляли как актеры, и она не принимала их всерьез, хотя у нее вызывали уважение их деятельность, их положение и титулы.

В художнике ей понравилось прежде всего то, что было для нее ново. В его мастерской ей было очень весело, она от души хохотала, чувствовала себя остроумной и была ему благодарна за то удовольствие, которое доставляли ей эти сеансы. Он нравился ей еще и потому, что был красив, силен и знаменит; ни одна женщина, что бы женщины ни говорили, не останется равнодушной к физической красоте и славе. К тому же ей, польщенной вниманием такого мастера, в свою очередь, хотелось видеть его в самом лучшем свете, и она обнаружила в нем остроту и культуру мышления, деликатность, живое воображение, поистине обаятельный ум и красочную речь, как бы освещающую все, о чем бы она ни шла.

Они быстро сблизились, и их рукопожатия день ото дня становились все сердечнее.

У нее не было никакого расчета, никакого обдуманного намерения; просто в один прекрасный день она почувствовала, что в ней растет естественное желание пленить художника, и она уступила этому желанию. Она ничего не предусматривала, не строила никаких планов; она просто, как это бессознательно делают женщины с теми мужчинами, которые нравятся им больше других, кокетничала с ним особенно мило, и во всей ее манере обращения с ним, во взглядах, в улыбках был тот манящий аромат, что исходит от женщины, в которой пробуждается потребность быть любимой.

Она часто делала лестные для него замечания, это означало: «Я считаю, что вы очень красивы» — и заставляла его говорить подолгу, чтобы, внимательно его слушая, показать ему, какой громадный интерес он ей внушает. Он прекращал работу, садился подле нее, ощущая тот редкостный духовный подъем, который возникает из пьянящего сознания своего успеха, и то им овладевало поэтическое настроение, то он предавался веселью, то философским размышлениям.

Когда он шутил, она забавлялась, когда он говорил о вещах серьезных, она старалась следить за ходом его мысли, хотя это удавалось ей не всегда; если же ей случалось задуматься о чем-нибудь другом, она делала вид, что слушает его, и казалось, она так хорошо его понимает, так наслаждается его откровенностью, что он приходил в восторг от ее внимания и был взволнован тем, что нашел такую тонкую, такую открытую и мягкую душу, куда мысль западает как зерно.

Портрет подвигался вперед и обещал быть весьма удачным: живописец обрел настроение, необходимое для того, чтобы выделить все качества модели и запечатлеть их с тем увлечением и с той убежденностью в верности своего видения, которые и составляют вдохновение истинного художника.

Наклонившись к ней, он следил за всеми изменениями ее лица, за всеми выражениями ее прозрачных глаз, вглядывался во все оттенки ее кожи, в тени на ее лице, во все сокровенные черты ее облика; он был пропитан ею, как губка, разбухшая от воды, и, когда он переносил на полотно все излучавшееся ею пленительное очарование, которое вбирал его взгляд и которое, как волна, переливалось из его воображения в его кисть, он чувствовал себя оглушенным, хмельным, словно он пил эту прелесть женщины.

Она чувствовала, что он увлечен ею, забавлялась этой игрой, этой победой, час от часу все более несомненной, и воодушевлялась сама.

Что-то новое придавало ее жизни новый вкус, пробуждало в ней таинственную радость. Когда при ней заговаривали о нем, сердце ее билось чуть сильнее, и у нее возникало желание сказать, — такого рода желания никогда не достигают уст, — «он влюблен в меня». Ей было приятно, когда превозносили его талант, но, пожалуй, еще приятнее было ей, когда его находили красивым. Когда же она думала о нем наедине с собой, без нескромных гостей, которые могли бы смутить ее, она всерьез воображала, что нашла в нем доброго друга, который всегда будет довольствоваться сердечным рукопожатием.

Нередко среди сеанса он откладывал палитру на табурет, брал на руки маленькую Аннету и нежно целовал ее в голову или в глаза, глядя на мать и как бы говоря: «Это вас, а не ребенка я так целую».

Иногда графиня де Гильруа приходила одна, без дочери. В такие дни они мало занимались портретом и почти все время разговаривали.

Однажды она опоздала. Стояли холода: был конец февраля. Оливье вернулся домой пораньше — теперь он так делал всякий раз, когда должна была прийти она: он всегда надеялся, что она придет не к самому началу

сеанса. В ожидании ее он ходил взад и вперед, курил и спрашивал себя, удивляясь тому, что за неделю он задает себе этот вопрос в сотый раз: «Неужели я влюблен?» Он никак не мог понять себя, потому что никогда еще не любил по-настоящему. У него бывали бурные и даже довольно долгие увлечения, но он никогда не считал их любовью. И теперь его изумляло то, что он чувствовал.

Любил ли он? Наверно, любил: ведь у него не было пламенного желания обладать этой женщиной, и он даже не помышлял о такой возможности. До сих пор, когда ему нравилась какая-нибудь женщина, его тотчас охватывало желание, заставлявшее его протягивать к ней руки словно для того, чтобы сорвать плод, но его сокровенная мысль никогда не была всерьез потревожена отсутствием женщины или же ее присутствием.

А вот страсть к этой женщине лишь коснулась его и, казалось, тотчас съезжилась, спряталась за другим чувством, более могучим, но еще смутным и едва пробудившимся. Раньше Оливье думал, что любовь начинается с мечтаний, с поэтических восторгов. То, что он испытывал теперь, напротив, казалось ему, происходит от какого-то неопределенного ощущения, причем скорее физического, нежели душевного. Он стал нервным, впечатлительным, беспокойным — так бывает с нами, когда у нас начинается какая-то болезнь. Однако к лихорадке, которая зажглась у него в крови и которая своим волнением заражала и его мозг, ничего болезненного не примешивалось. Он сознавал, что причиной этого смятения была графиня де Гильруа, воспоминания о ней, ожидание ее прихода. Он не чувствовал, что рвется к ней всем существом; он чувствовал, что она всегда с ним, как если бы она его и не покидала: уходя, она оставляла в нем частицу самое себя, что-то неуловимое и невыразимое. Что же это было? Была ли то любовь? И он исследовал свое сердце, чтобы увидеть это и понять.

Он считал ее очаровательной, но она не отвечала тому идеалу женщины, который когда-то создала его слепая надежда. Каждый, кто призывает любовь, заранее предугадывает физический и нравственный облик той, которая его покорит; графиня де Гильруа, хотя и безумно нравилась ему, как будто не была такой женщиной.

Однако почему же он все время думал о ней, думал гораздо больше, чем о других женщинах, думал беспрестанно и совсем по-другому?

Уж не попался ли он просто-напросто в силки, расставленные ее кокетством, которое он давно учуял и понял, и, обманутый ее уловками, подчинился силе того особого очарования, какую дает женщине желание нравиться?

Он ходил, садился, снова принимался расхаживать, закуривал папиросу и тотчас же бросал ее, а сам поминутно смотрел на стрелку стальных часов, медленно, но верно приближавшуюся к назначенному часу.

Он уже не раз порывался приподнять ногтем выпуклое стекло, прикрывавшее две движущиеся золотые стрелки, и кончиком пальца подтолкнуть большую стрелку к той цифре, к которой она ползла так лениво.

Ему казалось, что этого достаточно для того, чтобы дверь отворилась и чтобы та, которую он ждал, обманутая и привлеченная этой хитростью, появилась в мастерской. Потом он сам посмеивался над этим упрямым, нелепым, ребяческим желанием.

Наконец он задал себе вопрос: «Могу ли я стать ее любовником?» Эта мысль показалась ему странной, едва ли осуществимой, почти вовсе невыполнимой из-за тех сложностей, какие это могло бы внести в его жизнь.

Однако эта женщина очень ему нравилась, и он сделал вывод: «Сказать по совести, я попал в дурацкое положение».

Часы пробили, и их звон, потрясший скорее его нервы, нежели душу, заставил его вздрогнуть. Он ждал ее с тем нетерпением, которое возрастает с каждой секундой опоздания. Она всегда была аккуратна; стало быть, не пройдет и десяти минут, как он увидит ее. Когда эти десять минут истекли, он сперва встревожился так, как будто почувствовал приближение беды, потом рассердился на то, что она заставляет его терять время, потом вдруг понял, что если она не придет, он будет очень страдать. Что делать? Он будет ждать ее! Или нет: если она сильно запоздает, она не застанет его в мастерской.

Он уйдет, но когда? Надолго ли надо оставить ее одну? Не лучше ли будет, если он подождет ее и несколькими учтивыми, холодными словами даст ей понять, что он не из тех, кого заставляют дожидаться? А что, если она совсем не придет? Но в таком случае она прислала бы телеграмму, записку, лакея или рассыльного. И что он будет делать, если она так и не придет? День все равно пропал: работать он уже не сможет. И что тогда?.. Тогда он пойдет и узнает, что с ней, потому что ему необходимо ее видеть.

Это была правда: ему было необходимо ее видеть, это была потребность неизбежная, гнетущая, мучительная. Что это было? Любовь? Но он не заметил за собой ни лихорадочной работы мысли, ни смятения чувств, ни мечтаний в душе, когда понял, что будет очень страдать, если она сегодня не придет.

Раздался звонок с улицы, и Оливье Бертен внезапно почувствовал, что у него слегка перехватило дыхание; он так обрадовался, что, подбросив

папиросу, сделал пируэт.

Вошла она; она была одна.

Внезапно он почувствовал прилив отчаянной смелости.

— Знаете, о чем я спрашивал себя, когда ждал вас?

— Нет, конечно.

— Я спрашивал себя: уж не влюблен ли я в вас?

— Влюблены в меня! Да вы с ума сошли! Но она улыбалась, и ее улыбка говорила: «Очень мило с вашей стороны, я так этому рада!» — Полно, это вы несерьезно, — продолжала она. — Что это вам вздумалось так пошутить?

— Напротив, я совершенно серьезен, — отвечал он. — Я не утверждаю, что я влюблен, я спрашиваю себя: не близок ли я к тому, чтобы влюбиться?

— И что же навело вас на эту мысль?

— Волнение, которое я испытываю, когда вас нет, и счастье, какое я испытываю, когда вы приходите. Она села.

— О, не волнуйтесь из-за таких пустяков! Пока вы крепко спите и с аппетитом обедаете, опасности еще нет. Он рассмеялся.

— Ну, а если я потеряю сон и аппетит? — Дайте мне знать.

— И что тогда?

— Тогда я оставлю вас в покое, и вы излечитесь.

— Покорно благодарю!

Они смаковали тему любви весь сеанс. То же самое было и в следующие дни.

Она относилась к этому как к остроумной и ни к каким последствиям не ведущей шутке и, входя в мастерскую, весело спрашивала:

— Ну как поживает сегодня ваша любовь? И он, то серьезно, то легкомысленно, подробно рассказывал ей, что болезнь прогрессирует, рассказывал о непрерывной, огромной внутренней работе родившегося и все растущего чувства. С забавным видом изображая профессора, читающего лекции, он тщательно анализировал свои ощущения час за часом после того, как они расстались в последний раз, а она слушала его с интересом, не без волнения и даже не без смущения: ведь эта история походила на роман, героиней которого была она сама. Когда он, с видом галантным и непринужденным, перечислял все недавшие его тревожнения, голос его порою дрожал и одним словом или даже одной интонацией выражал боль, терзавшую его сердце.

А она все расспрашивала и расспрашивала его, не сводя с него глаз и трепеща от любопытства; она жадно впитывала те подробности, которые

тревожат слушателя, но которые пленяют слух.

Порой он подходил к ней, чтобы вернуть ее в первоначальное положение, брал ее руку и пытался поцеловать. Она быстрым движением отдергивала пальцы от его губ и чуть сдвигала брови.

— Полно, полно; работайте, — говорила она.

Он снова принимался за работу, но не проходило и пяти минут, как она задавала ему какой-нибудь вопрос, чтобы искусно заставить его возобновить разговор на ту единственную тему, которая их интересовала.

В душе она уже ощущала зарождавшуюся тревогу. Ей очень хотелось быть любимой, но не слишком горячо. Уверенная в том, что сама она не увлечена, графиня боялась, что позволит ему зайти чересчур далеко и потеряет его, будучи вынуждена отнять у него всякую надежду после того, как, казалось, поощряла его. И все же, если бы ей пришлось отказаться от этой нежной, кокетливой дружбы, от этой болтовни, которая текла, неся крупницы любви, подобно тому, как несет ручей золотиносный песок, ей было бы очень грустно, грустно до боли.

Выходя из дому и направляясь в мастерскую художника, она чувствовала, что ее переполняет живая, горячая радость, от которой на душе становится легко и весело. И когда пальцы ее притрагивались к звонку у дверей особняка Оливье, сердце ее билось от нетерпения, а ковер на лестнице казался ей самым мягким из тех, по которым когда-либо ступала ее ножка.

Бертен, однако, мрачнел, нервничал, нередко бывал раздражителен.

Нетерпение его прорывалось; он тотчас подавлял его, но это случалось все чаще и чаще.

Однажды, как только она вошла, он, вместо того, чтобы взяться за дело, сел рядом с ней и сказал:

— Теперь вы, конечно, понимаете, что это не шутка и что я безумно люблю вас.

Смущенная этим вступлением, видя, что опасность приближается, она попыталась остановить его, но он уже не слушал ее. Волнение переполняло его сердце, и она, бледная, трепещущая, встревоженная, вынуждена была выслушать его. Он говорил долго, нежно, печально, с какой-то покорностью отчаяния, ничего не требуя, так что она позволила ему взять и держать ее руки в своих. Он опустил на колени прежде, чем она успела помешать ему, и, глядя на нее глазами лунатика, умолял ее не причинять ему страданий. Каких страданий? Этого она не понимала, да и не старалась понять, оцепенев от жестокой боли, которую она испытывала при виде его мук, но эта боль была почти счастьем. Вдруг она увидела слезы на его

глазах, и это так ее растрогало, что у нее вырвалось: «О!», и она готова была поцеловать его, как целуют плачущих детей. А он твердил так нежно: «Выслушайте меня, выслушайте: я очень страдаю», — и внезапно ее захватило его отчаяние, ее тронули его слезы, нервы ее не выдержали, и она зарыдала, а ее трепещущие руки готовы были раскрыться для объятий.

Когда неожиданно для себя она очутилась в его объятиях и почувствовала на губах его страстные поцелуи, ей хотелось кричать, бороться, оттолкнуть его, но тут же она поняла, что погибла, ибо, сопротивляясь, она уступала, отбиваясь — отдавалась и, восклицая: «Нет, нет! Не надо!» — обнимала его.

Потрясенная, она замерла, закрыв лицо руками, потом вдруг вскочила, подняла свою шляпу, упавшую на ковер, надела ее и выбежала из мастерской, не обращая внимания на мольбы Оливье, пытавшегося удержать ее за платье.

Как только она очутилась на улице, ей захотелось сесть на край тротуара — до того она была разбита; ноги у нее подкашивались. Она подождала проезжавший мимо фиакр и сказала кучеру: «Поезжайте потихоньку и везите меня куда хотите». Она бросилась в экипаж, захлопнула дверцу и забила как можно глубже, чтобы, чувствуя себя за поднятыми стеклами в одиночестве, углубиться в свои мысли.

Первые мгновенья в голове у нее отдавался только стук колес и толчки по неровной мостовой. Она глядела на дома, на пешеходов, на людей, ехавших в фиакрах, на омнибусы пустыми, ничего не видящими глазами, она ровно ни о чем не думала, как будто желая дать себе время передохнуть, прежде чем собраться с силами и понять, что произошло.

Но у нее был живой и отнюдь не робкий ум, и через некоторое время она сказала себе: «Вот я и погибшая женщина». И еще несколько минут она оставалась во власти переживаний, в уверенности, что произошло непоправимое несчастье, в ужасе, как человек, который упал с крыши и все не может пошевелинуться, догадываясь, что у него переломаны ноги, и не смея удостовериться в этом.

Но вместо того, чтобы прийти в отчаяние от горя, хотя она ждала его и боялась, что оно обрушится на нее, ее сердце, пройдя через эту катастрофу, оставалось спокойным и безмятежным; после падения, которое тяжким бременем легло на ее душу, сердце ее билось медленно и тихо и, казалось, не принимало никакого участия в смятении ее духа.

Громко, как бы желая услышать свой приговор и убедить самое себя, она повторяла:

— Вот я и погибшая женщина!

Но ее плоть не откликалась горестным эхом на эту жалобу совести.

Какое-то время она отдавалась убаюкивающему покачиванию фиакра, отгоняя мысли о своем трагическом положении. Нет, она не страдала. Она боялась думать, вот и все, боялась что-то сознавать, понимать, рассуждать; напротив: ей казалось, что в темном, непроницаемом существе, которое создает внутри нас непрекращающаяся борьба наших склонностей и нашей воли, она ощущает небывалое спокойствие.

Этот странный отдых продолжался, вероятно, около получаса; наконец, уверившись, что желанное отчаяние не придет, она стряхнула с себя оцепенение и прошептала:

— Как странно! Я почти не страдаю.

И тут она принялась осыпать себя упреками. В ней поднимался гнев против своего ослепления и своей слабости. Как могла она этого не предвидеть? Как не поняла, что час этой борьбы должен наступить? Что этот человек очень нравился ей и мог заставить ее пасть? Что в самых честных сердцах дуновение страсти порою подобно порыву ветра, уносящему волю?

Строго и презрительно отчитав себя, она с ужасом задала себе вопрос, что будет дальше.

Ее первой мыслью было порвать с художником и никогда больше с ним не встречаться.

Но едва она приняла такое решение, как тотчас ей в голову пришло множество возражений.

Чем объяснит она эту ссору? Что скажет мужу? Не догадаются ли в свете об истинной подоплеке дела, не станут ли шушукаться и всюду рассказывать об этой догадке?

Не лучше ли будет, ради соблюдения приличий, разыграть перед самим Бертенем лицемерную комедию равнодушия и забвения и показать ему, что она вычеркнула эту минуту из своей памяти и из своей жизни?

Но сможет ли она это сделать? Хватит ли у нее решимости притвориться, что она ничего не помнит, сказать: «Что вам угодно от меня?» — глядя с негодующим изумлением на того самого мужчину, чье мгновенное и грубое чувство она, говоря по совести, разделила?

Она размышляла долго, но все же остановилась на этом; никакое другое решение не представлялось ей возможным.

Завтра она смело пойдет к нему и сразу же даст понять, чего она хочет, чего она требует от него. Пусть ни одно слово, ни один намек, ни один взгляд никогда не напомнят ей об этом позоре!

Сначала он будет страдать, — он, разумеется, тоже будет страдать, —

но потом, как человек порядочный и благовоспитанный, безусловно, покорится своей участи и навсегда останется для нее тем же, чем был до сих пор.

Придя к этому новому решению, она назвала кучеру свой адрес и вернулась домой совершенно разбитая, с единственным желанием лечь, никого не видеть, заснуть, забыться. Запершись у себя в комнате, она до самого обеда пролежала на кушетке, вытянувшись, застыв, не желая отягощать себя долее этими опасными мыслями.

В урочный час она спустилась, сама удивляясь тому, что так спокойна и что ждет мужа, сохраняя свое обычное выражение лица. Муж вошел с девочкой на руках; она пожала ему руку и поцеловала ребенка, не испытывая ни малейших угрызений совести.

Граф де Гильруа спросил, что она сегодня делала. Она равнодушно ответила, что позировала, как и все эти дни.

— Ну и как портрет? Хорош? — спросил он.

— Должен быть превосходен.

Граф любил за обедом рассказывать о своих делах, и сейчас он заговорил о заседании Палаты и о прениях по поводу законопроекта о подделке пищевых продуктов.

Эта болтовня, которую она обычно выносила легко, теперь раздражала ее и заставила внимательнее посмотреть на этого заурядного человека, на этого фразера, но, слушая его, она улыбалась и отвечала на его банальности вежливо, даже любезнее, даже ласковее обыкновенного. Глядя на него, она думала: «Я обманула его. Это мой муж, а я его обманула. Не странно ли? Теперь уж ничто не может исправить это, ничто не может это зачеркнуть! Я закрыла глаза. Несколько секунд, всего лишь несколько секунд я отдавалась поцелуям чужого мужчины, и вот я уже перестала быть порядочной женщиной! Несколько секунд моей жизни, несколько секунд, которых не вернешь, привели меня к этому незначительному, но непоправимому поступку, такому серьезному и так быстро совершившемуся, привели к самому позорному для женщины преступлению... а я совсем не испытываю отчаяния. Если бы мне сказали об этом вчера, я бы не поверила. Если бы меня стали уверять, я тотчас подумала бы о жестоких угрызениях совести, которые будут терзать меня сегодня. Но я их не чувствую, почти не чувствую».

После обеда граф де Гильруа уехал из дому, как это он делал почти всегда.

Она посадила к себе на колени дочку, поцеловала ее и заплакала; она плакала слезами искренними, но то были слезы, проливаемые совестью, а

не сердцем.

Однако она не смыкала глаз почти всю ночь.

В темноте своей спальни она мучилась сильнее, думая о тех опасностях, какими ей могло грозить дальнейшее поведение Бертена, и ей становилось страшно при мысли о завтрашней встрече и о том, что она должна будет сказать художнику, глядя ему в лицо.

Она встала рано и все утро просидела у себя на кушетке, стараясь предусмотреть, чего ей следует опасаться, что отвечать, стараясь приготовиться ко всевозможным сюрпризам.

Из дому она выехала пораньше, чтобы еще поразмыслить дорогой.

У него было мало надежды на то, что она придет; со вчерашнего дня он раздумывал, как он должен вести себя с нею теперь.

После ее отъезда, после этого бегства, воспротивиться которому он не посмел, он остался один, и долго еще, даже издали, слышал звук ее шагов, шелест ее платья и стук захлопнувшейся двери, которую толкнула нетвердая рука.

Он все стоял и стоял, преисполнившись пылкой, глубокой, кипучей радостью. Он обладал ею! Это случилось с ними! Неужели это правда? Как только прошло ощущение неожиданности, он стал упиваться своим триумфом и, чтобы насладиться им вполне, уселся, почти улегся на диван, на котором овладел ею.

Он пролежал так долго, весь поглощенный мыслью о том, что она — его любовница, что между ними — между ним и этой женщиной, которую он так страстно желал, — в несколько мгновений возникла таинственная связь, незаметно соединяющая друг с другом два существа. Всем своим еще содрогавшимся существом он хранил острое воспоминание о кратком миге, когда губы их встретились, когда тела их сплелись и слились в едином, великом содрогании жизни.

Чтобы насытиться этой мыслью, он вечером так и не вышел из дому и рано лег, весь трепеща от счастья.

На другой день, едва проснувшись, он задал себе вопрос: «Что бы такое сделать?» Будь на ее месте кокетка или актриса, он послал бы ей цветы или даже драгоценность, но в этом новом для него положении его осаждали сомнения.

Конечно, он должен написать ей... Но что?.. Он набрасывал, перечеркивал, рвал и снова начинал десятки писем, но все они казались ему оскорбительными, гнусными, смешными.

Ему хотелось выразить свою душевную признательность, охватившую его исступленную нежность, уверения в безграничной преданности

утонченными, чарующими словами, но для передачи этих страстных чувств со всеми их оттенками он не находил ничего, кроме банальных, избитых фраз, грубых, наивных общих мест.

Наконец он решил не писать и пойти к ней, как только истечет время сеанса: он был уверен, что она не придет.

Запершись у себя в мастерской, он в восторге остановился перед ее портретом, губы его горели от желания поцеловать полотно, на котором как бы осталась часть ее самой; то и дело он подходил к окну и смотрел на улицу. Каждое женское платье, появлявшееся вдали, заставляло биться его сердце. Двадцать раз ему казалось, что он узнал ее, а потом, когда эта женщина проходила мимо, он на минутку присаживался, охваченный грустью, словно его обманули.

И вдруг он увидел ее; он не поверил своим глазам, схватил бинокль, убедился, что это она, и, вне себя от безумного волнения, уселся в ожидании ее прихода.

Когда она вошла, он бросился на колени и хотел взять ее за руки, но она отдернула их и, видя, что он все еще у ее ног и глядит на нее с глубокой тоской, надменно заговорила с ним:

— Что вы делаете? Я вас не понимаю.

— О, умоляю вас... — пролепетал он.

— Встаньте, это просто смешно, — резко перебила она.

Он встал в полной растерянности.

— Что с вами? Не говорите так со мной, ведь я люблю вас!.. — прошептал он.

Тогда она в нескольких сухих и кратких словах объявила ему свою волю и определила создавшееся положение.

— Не понимаю, что вы хотите сказать! Никогда не говорите мне о любви, иначе я уйду из вашей мастерской и больше уже не приду. Если вы хоть раз забудете, что я нахожусь здесь только при этом условии, вы меня больше не увидите.

Он смотрел на нее в отчаянии от жестокости, которой он от нее не ожидал; потом он все понял.

— Я повинуюсь, — тихо сказал он.

— Прекрасно; этого я и ждала от вас! А теперь приступайте к делу, вы слишком затянули окончание портрета.

Он взял палитру и принялся за работу, но рука его дрожала, отуманенные глаза смотрели невидящим взглядом; на сердце у него было так тяжело, что ему хотелось плакать.

Он попытался заговорить с ней, но она едва отвечала. Когда он

попробовал было сказать какую-то любезность по поводу цвета ее лица, она оборвала его так резко, что внезапно его охватило то бешенство, которое у влюбленных превращает нежность в ненависть. Все его существо — и душа и тело — ощутило сильное нервное потрясение, и он тотчас же, без перехода, возненавидел ее. Да, да, все они такие, эти женщины! И она не лучше других, ничуть не лучше! Конечно, нет! Она так же двулична, изменчива и малодушна, как и другие женщины. Она завлекла его, соблазнила уловками продажной девки, не любя, вскружила ему голову, раздражила его и затем оттолкнула, применила к нему все приемы подлых кокеток, кажется, вот-вот готовых раздеться, так что мужчина, который из-за них становится похожим на уличного пса, начинает задыхаться от страсти.

Что ж, тем хуже для нее: он овладел ею, он ее взял. Она может теперь сколько угодно вытирать свое тело губкой и как угодно заносчиво с ним разговаривать: ничего она не сотрет, а вот он ее позабудет! Нечего сказать, хорошенькое было бы дело — навязать себе на шею такую любовницу, которая своими капризными зубками, зубками хорошенькой женщины, изгрызла бы его жизнь, жизнь художника!

Ему хотелось засвистеть, как он делал при своих натурщицах, но, чувствуя, что раздражение его растет, и опасаясь сделать глупость, он сократил сеанс, сославшись на какую-то встречу. Обмениваясь прощальными поклонами, они, несомненно, чувствовали себя гораздо более далекими друг другу, нежели в тот день, когда впервые встретились у герцогини де Мортмен.

Как только она ушла, он взял пальто и шляпу и вышел из дому. С голубого неба, окутанного туманом словно ватой, холодное солнце бросало на город бледный свет, чуть печальный и обманчивый.

Некоторое время он быстро и нервно шагал, расталкивая прохожих, чтобы не сойти с прямой линии, и, пока он шел, его бешенство растворялось в унынии и сожалениях. Повторив все упреки по ее адресу, он, глядя на других женщин, проходивших по улице, вспомнил, как она красива и как обольстительна. Подобно многим мужчинам, которые ни за что в этом не признаются, он ждал невозможной встречи, ждал редкой, единственной, поэтической и страстной привязанности, мечта о которой парит над нашими сердцами. И разве он не был близок к тому, чтобы найти ее? Разве не она была именно той женщиной, которая могла бы дать ему это почти невозможное счастье? Почему же ничто не сбылось? Почему ты никак не можешь поймать то, за чем гонишься, или же тебе удастся подобрать какие-то жалкие крохи, от которых эта погоня за

разочарованиями становится еще более мучительной?

Он сердился теперь уже не на эту женщину, а на самую жизнь. Да и за что, по зрелом размышлении, он может сердиться на графиню? В сущности говоря, в чем он может ее упрекнуть? В том, что она была с ним любезна, приветлива и добра? А вот она как раз могла бы упрекнуть его за то, что он поступил с ней как подлец!

Он вернулся домой глубоко опечаленный. Ему хотелось просить у нее прощения, отдать ей всю свою жизнь, заставить ее забыть о случившемся, и он раздумывал, что бы такое сделать, чтобы она поняла, что отныне и до самой смерти он будет покорно исполнять все ее желания.

На следующий день она пришла вместе с дочерью, и на губах у нее была такая печальная улыбка, и такой у нее был убитый вид, что художнику показалось, будто в этих скорбных голубых глазах, доселе таких веселых, он видит все страдания, все угрызения совести, все муки женского сердца. В нем шевельнулась жалость, и, чтобы она забыла о случившемся, он стал проявлять по отношению к ней самую деликатную сдержанность, самую тонкую предупредительность. Она отвечала на это кротко, ласково, она выглядела усталой и разбитой, страдающей женщиной.

А он смотрел на нее и, вновь охваченный безумным желанием любить ее и быть любимым ею, спрашивал себя: как может она перестать сердиться, как могла она снова прийти сюда, слушать его и отвечать ему, когда между ними встало такое воспоминание?

Но коль скоро она может снова видеть его, слышать его голос и терпеть в его присутствии ту единственную мысль, которая, несомненно, ее не покидает, стало быть, эта мысль не сделалась для нее невыносимой. Когда женщина ненавидит мужчину, овладевшего ею насильно, она не может при встрече с ним не дать выхода своей ненависти. И этот мужчина ни в коем случае не может стать ей безразличным. Она либо ненавидит его, либо прощает. А от прощения до любви рукой подать.

Все еще медленно водя кистью, он рассуждал, находя мелкие, но точные, ясные, убедительные аргументы; он чувствовал себя просветленным, чувствовал свою силу, чувствовал, что теперь он будет хозяином положения.

Ему только надо было запастись терпением, проявить осторожность, доказать свою преданность, и не сегодня-завтра она снова будет принадлежать ему.

Он умел ждать. Теперь уже он пустился на хитрости, чтобы успокоить ее и снова покорить: он скрывал свои нежные чувства под притворным раскаянием, под смиренными знаками внимания, под видом равнодушия.

Он был совершенно уверен в том, что будет счастлив, — так не все ли равно, случится это чуть раньше или же чуть позже! Он даже испытывал какое-то странное, особое наслаждение от того, что не торопится, от того, что выжидает, от того, что, видя, как она каждый день приходит с ребенком, говорит себе: «Она боится меня!» Он чувствовал, что оба они стараются снова сблизиться и что во взгляде графини появилось какое-то странное, неестественное, страдальчески-кроткое выражение, появился тот призыв борющейся души, слабеющей воли, который словно говорит: «Так бери же меня силой!» Малое время спустя она, успокоенная его сдержанностью, снова стала приходить одна. Тогда он начал обращаться с ней как с другом, как с товарищем, он рассказывал ей, как брату, о своей жизни, о своих планах, о своем искусстве.

Завороженная этой непринужденностью, польщенная тем, что он выделил ее среди многих других женщин, она охотно взяла на себя роль советчицы; к тому же она была убеждена, что его талант становится более утонченным от этой духовной близости. Но, интересуясь ее мнениями, выказывая ей глубокое уважение, он незаметно заставил ее перейти от роли советчицы на роль жрицы-вдохновительницы. Ее прельщала мысль, что таким образом она будет оказывать влияние на великого человека, и она почти была согласна на то, чтобы он любил ее как художник, коль скоро она — вдохновительница его творчества.

И вот, однажды вечером, после долгого разговора о любовницах знаменитых художников, она незаметно для себя самой очутилась в его объятиях. Но на сей раз она уже не пыталась вырваться и отвечала на его поцелуи.

Теперь она чувствовала уже не угрызения совести, а лишь смутное ощущение падения, и, чтобы ответить на укоры разума, поверила в то, что это судьба. Она тянулась к нему своим доселе девственным сердцем, своей доселе пустовавшей душой, телом, постепенно покорявшимся власти его ласк, и мало-помалу привязалась к нему, как привязываются нежные женщины, полюбившие впервые.

А у него это был острый приступ любви, любви чувственной и поэтической. Порой ему казалось, что однажды он распростер руки и, взлетев ввысь, сжал в объятиях дивную, крылатую мечту, которая вечно парит над нашими надеждами.

Он закончил портрет графини, портрет, бесспорно лучший из всех, им написанных, ибо ему удалось рассмотреть и запечатлеть то непостижимое и невыразимое, что почти никогда не удастся раскрыть художнику: отблеск, тайну, образ души, который неуловимо скользит по лицам.

Прошли месяцы, а потом и годы, но они почти не ослабили тех уз, которые связывали графиню де Гильруа и художника Оливье Бертена. Страсть, которую он испытывал на первых порах, уже прошла, но ее сменило спокойное, глубокое чувство, своего рода любовная дружба, которая превратилась у него в привычку.

В ней же, напротив, непрестанно росла пылкая привязанность, та упорная привязанность, какая появляется у женщин, которые отдаются одному мужчине, всецело и на всю жизнь. Такие же прямые и честные, какими они могли бы быть в супружестве, эти женщины отдают свою жизнь своему единственному чувству, от которого их ничто не отвратит. Они не только любят своих любовников — они хотят любить их, они видят их одних, и сердца и мысли этих женщин настолько полны ими, что ничто постороннее не может туда проникнуть. Они связывают свою жизнь так же прочно, как, готовясь броситься в воду с моста, связывает себе руки человек, умеющий плавать и решившийся умереть.

Однако с тех самых пор, когда графиня, подобно этим женщинам, всю себя отдала Оливье Бертену, ее стали осаждать сомнения в его постоянстве. Ведь его не удерживало ничто, кроме его мужской страсти, его прихоти, его мимолетного увлечения женщиной, которую он встретил случайно, как встречал уже столько других! Она чувствовала, что, не связанный какими-либо обязательствами, привычками, не отличавшийся излишней щепетильностью, как и все мужчины, он был совершенно свободен, был так доступен искушению! Он был красив, знаменит, все искали с ним знакомства, его быстро вспыхивающим желаниям отвечали все светские женщины, чье целомудрие столь хрупко, все женщины, созданные для постели, все актрисы, которые столь щедро расточают свои милости таким людям, как он. В один прекрасный вечер, после ужина, какая-нибудь из них может пойти за Оливье, понравиться ему, завладеть им и не отпустить.

Она жила в постоянном страхе потерять его, она приглядывалась к его поведению, к его настроению; одно его слово могло взволновать ее, она приходила в отчаяние, когда он восхищался другой женщиной, когда он восторгался прелестью чьего-нибудь лица или изяществом чьей-нибудь фигуры. Все, чего она не знала о его жизни, заставляло ее трепетать, а все, что знала, приводило ее в ужас. При каждой встрече она ловко выпрашивала его, чтобы, таким образом, он, сам того не замечая, вынужден был рассказать, что он думает о людях, с которыми видится, о домах, где он обедает, о самых ничтожных своих впечатлениях. Едва ей начинало казаться, что она догадывается о чем-то влиянии на него, как она с помощью бесчисленных уловок тут же старалась побороть это влияние,

обнаруживая поразительную находчивость.

О, как часто предчувствовала она легкие интрижки, которые длятся одну-две недели и которые время от времени возникают в жизни каждого видного художника!

У нее, если можно так выразиться, был нюх на опасность, и она чуяла ее приближение прежде, чем ее предупреждало о новом желании, пробуждающемся в Оливье, то счастливое выражение, какое появляется в глазах и на лице мужчины, возбужденного мыслью о новом любовном приключении.

Это заставляло ее страдать; теперь она никогда не спала спокойно, сон ее то и дело прерывался оттого, что ее терзали сомнения. Чтобы застать Оливье врасплох, она приходила к нему без предупреждения, задавала ему вопросы, на первый взгляд казавшиеся наивными, выстукивала его сердце, выслушивала его мысль, как выстукивают и выслушивают больного, чтобы распознать затаившуюся в нем болезнь.

Оставшись одна, она тотчас принималась плакать: она была совершенно уверена в том, что уж на этот раз его отнимут у нее, похитят эту любовь, за которую она держалась так крепко, потому что со всей щедростью вложила в нее всю силу своей привязанности, все свои надежды, все свои мечты.

Зато когда она чувствовала, что после кратковременного охлаждения он вновь возвращается к ней, она стремилась снова взять его, снова завладеть им, как потерянной и найденной вещью, и при этом ее охватывало чувство безмолвного и такого глубокого счастья, что, проходя мимо церкви, она бросалась туда, чтобы возблагодарить бога.

Постоянная забота о том, чтобы нравиться ему больше всех остальных женщин и уберечь его от них, превратила всю ее жизнь в непрерывную борьбу, которую она вела с помощью кокетства. Она неустанно боролась за него и ради него оружием своего изящества, элегантности, красоты. Ей хотелось, чтобы всюду, где он мог услышать разговоры о ней, превозносили ее обаяние, ее ум, ее вкус, ее туалеты. Она хотела нравиться другим ради него, хотела пленять других для того, чтобы он гордился ею и ревновал. И каждый раз, когда она чувствовала, что он ревнует, она, помучив его немного, доставляла ему торжество, которое, подстрекая его тщеславие, оживляло его любовь.

Потом она поняла, что мужчина всегда может встретить в свете женщину, чье физическое очарование, в силу своей новизны, окажется сильнее, и стала прибегать к другим средствам: она льстила ему и баловала его.

Постоянно, тактично, она расточала ему хвалы, она кружила ему голову восхищением и окутывала его фимиамом поклонения, чтобы в любом другом месте дружба и даже нежность казались ему холодноватыми и недостаточными, чтобы он в конце концов убедился, что если другие женщины его и любят, то ни одна из них не понимает его всецело, так, как понимает она.

Свой дом, обе свои гостиные, где он появлялся часто, она превратила в уголок, куда его с одинаковой силой влекло и самолюбие художника и сердце мужчины, в уголок Парижа, где он бывал всего охотнее, ибо здесь утолялись все его страсти.

Она не только изучила все вкусы Оливье, не только угождала ему у себя дома, чтобы у него создалось впечатление, будто другого такого уютного уголка не найдешь больше нигде, — она сумела привить ему новые вкусы, внушить ему любовь к материальным и чувственным наслаждениям, приучить его к заботам о нем даже в мелочах, приучить к преданности, к обожанию, к лести! Она старалась пленить его взор изяществом, обоняние — ароматами, слух — комплиментами, вкус — лакомыми блюдами.

Но когда она вложила в душу и тело этого эгоистичного, избалованного холостяка множество мелких тиранических потребностей, когда она вполне уверила его в том, что никакая любовница не станет так заботливо, как она, удовлетворять его желания, вошедшие в привычку, доставлять ему все мелкие радости жизни, ей вдруг стало страшно оттого, что ему опостылел его собственный дом, что он вечно жалуется на одиночество и что, не имея возможности бывать у нее иначе как соблюдая все правила, установленные светом, он пытается развеять тоску одиночества то в клубе, то в разных других местах; ей стало страшно, как бы он не начал подумывать о женитьбе.

Бывали дни, когда ее так терзали все эти волнения, что она начинала мечтать о старости, когда эти страдания кончатся и она найдет успокоение в бесстрастной, спокойной привязанности.

Годы, однако, шли, не, разъединяя графиню и Оливье. Цепь, выкованная ею, была прочна, а если звенья изнашивались, она их подновляла. Но она в вечной тревоге следила за сердцем художника — так следят за ребенком, переходящим улицу, по которой все время снуют экипажи, — и до сих пор все еще со страхом ждала какого-то неведомого несчастья, угроза которого нависла над ними.

У графа не возникало ни подозрений, ни ревности, он находил естественной эту близость жены с знаменитым художником, которого

всюду принимали с честью. Граф и художник встречались часто, привыкли, а в конце концов и полюбили друг друга.

Глава 2

Когда в пятницу вечером Бертен явился к своей возлюбленной на обед по случаю возвращения Антуанетты де Гильруа, он не застал в маленькой гостиной в стиле Людовика XV никого, кроме г-на де Мюзадзе.

Это был умный старик, который в свое время, вероятно, мог стать человеком выдающимся и который теперь был безутешен от того, что не стал таковым.

Бывший хранитель императорских музеев, он и при республике каким-то образом ухитрился получить должность инспектора музеев изящных искусств, что не мешало ему быть прежде всего другом принцев — всех принцев, принцесс и герцогинь в Европе, — а также присяжным покровителем талантов, проявивших себя во всех областях искусства. Наделенный живым умом, способностью предвидеть все на свете, блестящим даром слова, благодаря которому в его устах приятно звучали самые избитые истины, наделенный гибкостью мысли, благодаря которой он в любом обществе чувствовал себя, как рыба в воде, наделенный острым чутьем дипломата, позволявшим ему определять людей с первого взгляда, он ежедневно, ежевечерне вносил то в одну, то в другую гостиную свою авторитетную, бесполезную и болтливую суетливость.

Разносторонне способный, он обо всем говорил с внушающим уважение видом знатока и с простотой популяризатора, за что его высоко ценили светские дамы, которые считали его ходячим кладом премудрости. Знал он действительно много, хотя читал только основополагающие труды, но он был в наилучших отношениях со всеми пятью Академиями, со всеми учеными, со всеми писателями, со всеми крупными специалистами в различных областях и внимательно к ним прислушивался. Он умел сразу же забывать сугубо технические или бесполезные для его знакомых сведения, зато прекрасно запоминал другие сведения, и вот эти-то сведения, подхваченные на лету, он излагал в гостиных в такой ясной и общедоступной форме и с таким добродушным видом, что они воспринимались так же легко, как исторические анекдоты. Он производил впечатление человека, у которого целый склад идей, один из тех громадных магазинов, где никогда не найдешь редкостных товаров, но где зато по дешевке можно купить сколько угодно любых других вещей самого разнообразного происхождения, самого разнообразного назначения, начиная с предметов домашнего обихода и кончая примитивными

приборами занимательной физики и инструментами для домашней аптечки.

Художники, с которыми он постоянно имел дело по долгу службы, посмеивались над ним и побаивались его. Однако он оказывал им разного рода услуги, помогал продавать картины, вводил их в свет, любил представлять их, продвигать, покровительствовать им; казалось, он посвятил себя таинственному делу приобщения художников к светскому обществу и создавал себе славу тем, что близко знаком с одними и запросто вхож к другим, что утром завтракал с принцем Уэльским, когда тот был в Париже, а вечером ужинал с Полем Адемансом, Оливье Бертенom и Амори Мальданом.

Бертен был до некоторой степени привязан к нему, но считал его смешным и отзывался о нем так:

— Это энциклопедия в стиле Жюль Верна, но только в переплете из ослиной кожи.

Обменявшись рукопожатиями, Мюзадье и Бертен заговорили о политике, о тревожных, по мнению Мюзадье, слухах насчет войны: по вполне понятным причинам, которые Мюзадье великолепно объяснил, в интересах Германии необходимо раздавить нас во что бы то ни стало и ускорить этот момент, коего Бисмарк ждет уже восемнадцать лет; Оливье Бертен, напротив, с помощью неопровержимых доводов доказывал, что эти опасения решительно ни на чем не основаны, так как Германия не настолько безумна, чтобы скомпрометировать свою победу столь сомнительной авантюрой, а канцлер не настолько опрометчив, чтобы, доживая последние дни, поставить на карту дело всей своей жизни и свою славу.

Однако де Мюзадье, по-видимому, знал нечто такое, о чем не хотел рассказывать. К тому же он сегодня виделся с одним министром, а перед тем, как приехать сюда, беседовал с великим князем Владимиром, вернувшимся из Канна.

Художник стоял на своем и со спокойной иронией оспаривал компетентность людей, которым известно все на свете. Просто за этими слухами кроются какие-то биржевые махинации! А определенное мнение на сей предмет имеется, вероятно, только у Бисмарка.

Вошел граф де Гильруа и поспешил пожать им руки, притворно извиняясь, что оставил их одних.

— А что думаете вы, дорогой депутат, относительно слухов о войне? — спросил художник.

Граф де Гильруа с места в карьер произнес целую речь. Как член Палаты, он осведомлен об этом лучше всех, но он не разделяет мнение

большинства своих коллег. Нет, он не верит в возможность столкновения в ближайшем будущем, разве что оно будет вызвано французской шумливостью и бахвальством так называемых «патриотов Лиги». И он в общих чертах набросал портрет Бисмарка — портрет в стиле Сен-Симона. Этого человека просто не хотят понять: люди всегда приписывают свой образ мыслей другим и полагают, что другие поступят так же, как поступили бы на их месте они сами. Бисмарк — это ведь не какой-нибудь там бессовестный и лживый дипломат; напротив, это деятель откровенный и грубый, он всегда говорил правду во всеуслышание и всегда открыто объявлял о своих намерениях. «Я хочу мира», — сказал он. И это правда, он хотел мира и только мира, и вот уже восемнадцать лет он доказывает это яснее ясного и притом всеми, решительно всеми способами, вплоть до вооружения, вплоть до заключения союзов, вплоть до сколачивания народов против нашей порывистости.

— Это великий, из великих великий человек, который хочет спокойствия, но который верит, что достичь его можно только угрозами и насильственными средствами. Короче говоря, это великий варвар, господа! — с глубокой убежденностью заключил граф де Гильруа.

— Что ж, цель оправдывает средства, — подхватил де Мюзадье. — Я охотно соглашусь с вами, что он обожает мир, если вы не станете со мной спорить, что для достижения мира он все время стремится к войне. Впрочем, это неоспоримая и феноменальная истина: все войны на этом свете ведутся только ради мира!

— Ее светлость герцогиня де Мортмен! — доложил лакей.

Двустворчатая дверь распахнулась, и в комнату с властным видом вошла высокая, полная женщина.

Гильруа бросился к ней, поцеловал ей пальцы и спросил:

— Как поживаете, герцогиня?

Оба гостя поклонились ей с какой-то учтивой фамильярностью: у самой герцогини была дружелюбная, но грубоватая манера обращения.

Вдова генерала, герцога де Мортмена, дочь маркиза де Фарандаля и мать единственной дочери, которая вышла замуж за князя Салиа, весьма родовитая и по-царски богатая, она принимала в своем особняке на улице Варенн знаменитостей всего мира, которые встречались и обменивались любезностями у нее. Не было высоких особ, которые проехали бы через Париж, не отобедав у нее за столом, и не было человека, о котором начинали говорить и с которым она тотчас же не захотела бы познакомиться. Ей необходимо было увидеть его, заставить его разговориться, составить себе о нем представление. Все это очень ее

развлекало, оживляло ее жизнь, подбрасывало топливо в горевшее в ней пламя высокомерного и благожелательного любопытства.

Едва она уселась, как тот же лакей громогласно объявил:

— Их милости барон и баронесса де Корбель! Оба они были молоды; барон был лысый и толстый, баронесса — хрупкая, элегантная жгучая брюнетка.

Эта пара занимала среди французской аристократии особое положение, которым была обязана ничему иному, как только тщательному выбору своих знакомств. Не отличаясь ни знатностью происхождения, ни достоинствами, ни умом, всегда движимые неумеренным пристрастием к тому, что считается фешенебельным, безукоризненным и изысканным, посещая только самые родовитые семейства, выказывая свои роялистские симпатии, набожность и наивысшую корректность, уважая все, что полагается уважать, и презирая все, что полагается презирать, никогда не ошибаясь ни в одном пункте светского законодательства, всегда твердо помня все детали этикета, Корбели в конце концов добились того, что в глазах многих людей сходили за сливки high-life'a^[1]. Их мнения составляли своего рода кодекс хорошего тона, а их посещения чьего-либо дома давали ему бесспорный титул почтенного дома.

Корбели были в родстве с графом де Гильруа.

— А где же ваша жена? — с удивлением спросила герцогиня.

— Секундочку, одну секундочку, — молвил граф. — Она готовит сюрприз и сейчас придет.

Когда графиня де Гильруа, через месяц после того, как вышла замуж, вступила в свет, она была представлена герцогине де Мортмен, и та сразу полюбила ее, обласкала и стала ей покровительствовать.

В течение двадцати лет эта дружба оставалась неизменной, и, когда герцогиня говорила: «моя малютка», в голосе ее все еще слышался отзвук этой внезапно возникшей и прочной симпатии.

— Были вы на выставке Независимых? — спросил Мюзадье.

— Нет, а что это такое?

— Это группа новых художников, это импрессионисты в состоянии опьянения. Среди них есть двое очень сильных.

— Не нравятся мне выходки этих господ, — презрительно процедила знатная особа.

Властная и резкая, почти никогда не признающая ничьих мнений, кроме своего собственного, и основывая это свое собственное мнение исключительно на сознании своего общественного положения, она, сама того не подозревая, смотрела на художников и ученых как на смысленых

наемников, самым господом богом предназначенных для того, чтобы развлекать светских людей или оказывать им услуги, и все ее суждения о науке и искусстве зиждились на большем или меньшем удивлении, которое вызывал у нее рассказ о каком-нибудь открытии, или на ничем не объяснимом удовольствии, которое доставлял ей вид какой-нибудь вещи или чтение какой-нибудь книги.

Высокая, полная, грузная, краснолицая, громогласная, она умела придать себе величественный вид; ничто ее не смущало, она позволяла себе говорить все, что хотела, и покровительствовала всем и вся — и низложенным государям, устраивая приемы в их честь, и даже Всевышнему, осыпая щедротами духовенство и жертвуя на церкви.

— А вы знаете, герцогиня, говорят, что убийца Мари Ламбур арестован? — снова обратился к ней Мюзадье.

В ней мгновенно пробудился интерес.

— Нет, не знаю, расскажите, — отвечала она. Он сообщил все подробности. Высокий, очень худой, в белом жилете, с маленькими бриллиантовыми пуговками на рубашке, он говорил без жестов, с тем корректным видом, который позволял ему высказывать весьма рискованные вещи, — это была его специальность. Он был сильно близорук, и казалось, что даже в пенсне он никого не видит; когда же он садился, весь его костяк словно принимал изгиб кресла. В согнутом положении его торс становился совсем маленьким и оседал так, словно позвоночник у него был резиновый; его ноги, положенные одна на другую, напоминали два скрученных шнура, локти длинных рук опирались на подлокотники, а бледные кисти с неимоверно длинными пальцами свисали по обе стороны кресла. Его артистически выкрашенные усы и волосы с искусно нетронутыми седыми прядями служили постоянной темой для острот.

Пока он рассказывал герцогине, что драгоценности, принадлежавшие убитой проститутке, были подарены ее предполагаемым убийцей другой особе легкого поведения, дверь большой гостиной снова распахнулась настежь, и две женщины, две блондинки в желтоватом облаке мехельнских кружев, похожие друг на друга, как сестры, только сестры разного возраста — одна зрелая, другая юная, одна полная, другая худенькая — вошли, обняв друг друга за талию и улыбаясь.

Раздались восклицания, аплодисменты. Кроме Оливье Бертена, никто не знал о возвращении Аннеты де Гильруа, и когда девушка появилась рядом с матерью, которая издали казалась такой же свежей и даже красивее, потому что, как пышно распустившийся цветок, все еще была ослепительна, а дочь, цветок едва раскрывшийся, только начинала

хорошеть, все нашли очаровательными обеих.

Герцогиня пришла в восторг и, хлопая в ладоши, воскликнула:

— Боже, как они восхитительны и как забавны! Да посмотрите же, господин де Мюзадье, до чего они похожи!

Их стали сравнивать, и тотчас же сложилось два мнения. Мюзадье, Корбели и граф де Гильруа считали, что у графини и ее дочери схожи только цвет лица, волосы и особенно глаза, совершенно одинаковые у обеих и одинаково испещренные черными точечками, напоминавшими крошечные брызги чернил, упавшие на голубой ирис. Но как только молодая девушка станет женщиной, сходство между нею и матерью исчезнет почти овеет.

Герцогиня же и Оливье Бертен, напротив, считали, что мать и дочь похожи друг на друга во всем и что только разница в возрасте позволяет их различать.

— Как она изменилась за эти три года! Я никогда не узнал бы ее, я уже не посмею говорить ей «ты», — сказал художник.

Графиня рассмеялась.

— Ну, только этого еще не доставало! Посмотрела бы я, как вы станете говорить Аннете «вы»!

Девушка, сквозь застенчивую резвость которой уже проглядывала будущая смелость, подхватила:

— Это я не посмею теперь говорить «ты» господину Бертену.

Мать улыбнулась.

— Можешь сохранить эту скверную привычку, я разрешаю. Вы быстро возобновите знакомство. Но Аннета покачала головой.

— Нет, нет. Я буду стесняться. Герцогиня расцеловала ее и принялась разглядывать с интересом знатока.

— Ну, малютка, посмотри на меня! Да, у тебя взгляд совсем такой же, как у твоей матери; еще немного, и ты приобретешь лоск и будешь недурна! Тебе надо пополнеть, только не очень, а чуть-чуть. А то ты совсем худышка.

— О нет, не говорите ей этого! — воскликнула графиня.

— А почему?

— Быть худенькой так приятно! Я непременно похудею!

Герцогиня де Мортмен рассердилась, забывая в пылу гнева о присутствии девочки.

— Вечная история! Вечно у вас в моде кости, потому что их одевать легче, чем мясо! Вот я, например, из поколения толстых женщин! А теперь в ход пошло поколение тощих! Это напоминает мне фараоновых коров. Я

решительно не понимаю мужчин, которые притворяются, будто они в восторге от ваших скелетов! В наше время они требовали кое-чего получше!

Все заулыбались.

— Посмотри на свою маму, малютка, — сделав паузу, продолжала герцогиня, — она очень хороша, как раз в меру. Бери пример с нее.

Все перешли в столовую. Когда сели за стол, Мюзадье возобновил спор:

— А я вот стою на том, что художавы должны быть мужчины. Они созданы для упражнений, которые требуют ловкости и подвижности, несовместимых с брюшком. Женщины — дело другое. Как вы думаете, Корбель?

Корбель оказался в затруднительном положении: герцогиня была полна, а его жена чересчур уж тонка. Но баронесса пришла к мужу на помощь и решительно высказалась в пользу стройности. Год тому назад ей пришлось бороться с начинавшейся полнотой, и она быстро с этим справилась.

— Скажите: как вы этого добились? — спросила графиня де Гильруа.

Баронесса стала рассказывать о системе, которой теперь держатся все элегантные женщины. За едой ничего не пить. Только через час после еды можно выпить чашку очень горячего, обжигающего чая. Это помогает всем без исключения. И она привела несколько поразительных примеров того, как за три месяца толстые женщины становились тоньше, чем лезвие ножа.

— Господи! Как это глупо — так себя мучить! — с раздражением воскликнула герцогиня. — Вы ничего не любите, ровно ничего, даже шампанское! Ну, Бертен, ведь вы художник, что вы об этом скажете?

— Боже мой! Сударыня, раз я художник, мне все равно: ведь я могу задрапировать модель! Вот будь я скульптором, я стал бы капризничать!

— Ну, а что вы предпочитаете как мужчина?

— Я? Я... нечто изящное, но достаточно упитанное, то, что моя кухарка называет хорошеньким откормленным цыпленочком. Такой цыпленок не жирен, но он мясистый и нежный.

Это сравнение вызвало смех, но графиня недоверчиво посмотрела на дочь и тихо сказала:

— Нет, быть худенькой лучше всего: женщины, сохраняющие фигуру, не стареют.

Это замечание тоже вызвало спор, и общество разделилось на два лагеря. Впрочем, в одном были согласны все: чересчур толстым не следует худеть слишком быстро.

Этот вывод навел на мысль произвести смотр всем знакомым светским женщинам и снова заговорить об их изяществе, их шике и красоте. Мюзадье считал очаровательной и несравненной белокурую графиню де Локрист, а Бертен превыше всех ценил г-жу Мандельер, брюнетку с низким лбом, темными глазами, довольно большим ртом и сверкающими зубами.

Он сидел рядом с девушкой; внезапно, повернувшись к ней, он сказал:

— Слушай хорошенько, Нанета. Все, что мы сейчас говорим, ты будешь выслушивать по меньшей мере раз в неделю до самой старости. Через неделю ты уже будешь знать наизусть все, что думают в свете о политике, женщинах, пьесах, ставящихся в театрах, и обо всем прочем. Тебе останется только время от времени менять имена людей и названия произведений. Когда ты услышишь, что мы все уже высказали и отстояли свои мнения, ты спокойно выберешь из них свое — какое-то мнение надо иметь каждому, — и больше тебе никогда не придется ни думать, ни заботиться: тебе останется только отдыхать.

Девочка молча подняла на него лукавый взгляд — в этом взгляде светился молодой, живой ум, который пока еще не сбросил шоры, но который вот-вот расстанется с ними.

Однако герцогиня и Мюзадье, которые перебрасывались мыслями как мячами, не замечая того, что мысли эти всегда одни и те же, запротестовали от имени человеческой жизнедеятельности и разума.

Тогда Бертен попытался показать, до чего ничтожен, ограничен и мелок ум светских людей, даже самых образованных, до чего необоснованны их взгляды, как равнодушно и пренебрежительно относятся они к жизни духа, как неустойчивы и сомнительны их вкусы.

Охваченный тем полуискренним, полупритворным негодованием, какое бывает вызвано сперва желанием блеснуть своим красноречием и какое затем, внезапно разгоревшись, отливается в форму ясного суждения, обычно маскируемого благодушием, Бертен стал показывать, как те, чья жизнь уходит исключительно на визиты и званые обеды, непреодолимой силой рока неизбежно превращаются в милых, но банальных, легкомысленных людей, для которых почти не существует ни забот, ни убеждений, ни серьезных стремлений.

Он показал, что эти люди совершенно лишены огня, глубины, искренности, что их духовная культура ничтожна, а их эрудиция — всего-навсего заемный блеск, что, в общем, это манекены, выдающие себя за избранных и подражающие им, хотя на самом деле таковыми не являются. Он доказал, что ломкие корни их инстинктов вросли в почву условностей, а не действительности, и оттого эти люди ничего по-

настоящему не любят, и даже роскошь, в которой они живут, — не что иное, как удовлетворение тщеславия, а вовсе не утоление утонченных физических потребностей, ибо у себя дома едят они плохо и пьют скверные вина, за которые платят очень дорого.

— Эти люди, — говорил он, — живут рядом со всем, что есть в мире, но они ничего не видят и ни во что не вникают: они живут рядом с наукой, в которой ничего не смыслят; рядом с природой, которую не умеют разглядеть; рядом — только рядом — со счастьем, ибо они не могут наслаждаться чем бы то ни было; рядом с красотой мира и с красотой искусства, о которых они толкуют, хотя не умеют их раскрыть и даже не верят в них, ибо упоение, наслаждение радостями жизни и духовными радостями им неведомо. Они неспособны полюбить что-либо настолько, чтобы эта любовь стала всепоглощающей, неспособны заинтересоваться чем-то настолько, чтобы их озарило счастье познания.

Барон де Корбель счел своим долгом взять под защиту великосветское общество.

Он делал это с помощью несостоятельных, но неопровержимых доводов, тех доводов, которые перед здравым смыслом исчезают, как снег от огня, которые невозможно уловить, — нелепых, но торжествующих доводов сельского священника, доказывающего бытие божие. В заключение он сравнил светских людей с беговыми лошадьми, которые, по правде говоря, совершенно не нужны, но которые составляют славу лошадиного рода.

Бертен, считая ниже своего достоинства спорить с таким противником, хранил презрительно-учтивое молчание. Но неожиданно глупость барона вывела его из себя, и, ловко прервав речь Корбеля, он, ничего не упуская, описал день благовоспитанного светского человека, начиная с утреннего пробуждения и кончая отходом ко сну.

Тонко подмеченные художником черточки живописали неимоверно комичный образ. Все так и видели перед собой этого господина: сперва он высказывает некоторые общие истины парикмахеру, явившемуся его побрить, в то время как камердинер его одевает; затем, совершая утреннюю прогулку, он расспрашивает конюхов о здоровье лошадей; затем проезжает рысцей по аллеям Булонского леса с единственной целью — раскланиваться со знакомыми; затем завтракает вместе с женой, которая тоже выезжала сегодня, но только в карете, причем рассказывает он ей только о том, кого он встретил сегодня утром; затем до вечера переходит из одной гостиной в другую, чтобы, общаясь с себе подобными, наточить острие своего интеллекта, обедает у какого-нибудь князя, где обсуждается

политическая обстановка в Европе, и заканчивает день в танцевальном фойе Оперы, где его робкие попытки прожигать жизнь удовлетворяются невинным созерцанием злчного места.

Портрет был так точен, а ирония так безобидна для присутствующих, что вокруг стола побежал смех.

Герцогиня тряслась от хохота, который она старалась сдержать, как это делают толстяки; грудь ее слегка вздрагивала.

— Нет, право, это невероятно забавно; из-за вас я умру со смеху, — наконец сказала она. Бертен был очень возбужден.

— Ах, сударыня, в свете со смеху не умирают! — подхватил он. — Там если и смеются, так чуть слышно. Из вежливости, по правилам хорошего тона там делают вид, что веселятся, и притворяются, что смеются. Там довольно удачно воспроизводят гримасу смеха, но никогда не смеются по-настоящему. Пойдите в народный театр — и вы увидите, как люди смеются. Пойдите к простым обывателям, когда они веселятся, — и вы увидите, как люди хохочут до упаду. Пойдите в солдатские казармы — и вы увидите, как люди покатываются со смеху, хохочут до слез и корчатся на своих койках, глядя на проделки какого-нибудь шутника. Но в наших гостиных не смеются. Там, повторяю, все поддельное, даже смех.

— Позвольте, вы слишком строги! — остановил его Мюзадье. — Ведь сами-то вы, дорогой мой, как мне кажется, не пренебрегаете этим самым светом, который так удачно высмеиваете.

Бертен улыбнулся.

— Да, я его люблю.

— Как же так?

— Я в известной мере презираю себя как метиса сомнительной расы.

— Все это просто рисовка, — сказала герцогиня. И так как он упорно стал отрицать это, она закончила спор заявлением, что художники любят все ставить с ног на голову.

После этого завязался общий разговор, банальный, спокойный, дружеский, сдержанный, коснувшийся всего на свете, и, так как обед подходил к концу, графиня, указывая на стоявшие перед ней нетронутые бокалы, неожиданно воскликнула:

— Ну вот, я ничего не пила, совсем ничего, ни капли! Посмотрим, похудею я или нет!

Герцогиня, разозлившись, хотела было заставить ее выпить глоток минеральной воды, но все было напрасно, и она воскликнула:

— Ах, глупенькая! Теперь вид дочери сведет ее с ума! Пожалуйста, Гильруа, не давайте вы вашей жене с ума сходить!

Граф в это время объяснял Мюзадье устройство изобретенной в Америке механической молотилки и не слышал их спора.

— О каком сумасбродстве вы говорите, герцогиня?

— О ее безумном желании похудеть. Он бросил на жену благодушно-безразличный взгляд.

— Я ведь не привык нарушать ее планы.

Графиня встала из-за стола и взяла под руку своего соседа, граф предложил руку герцогине, и все перешли в большую гостиную: та, что была дальше, предназначалась для дневных приемов.

Это была очень большая и очень светлая комната. Все четыре стены, украшенные широкими, красивыми, со стилизованными старинными рисунками, панно из бледно-голубого шелка, укрепленными белыми и золотыми багетами, при свете ламп и люстры, казалось, отливали нежным и ярким сиянием луны. Висевший на самом видном месте портрет графини работы Оливье Бертена, казалось, жил в этой комнате и оживлял ее. Здесь он был у себя дома, и самый воздух гостиной был напоен улыбкой молодой женщины, ее ласковым взглядом, свежей прелестью ее белокурых волос. Возник почти обычай, своего рода светский обряд — так, входя в церковь, люди осеняют себя крестным знаменем, — всякий раз гости останавливались перед этим произведением художника и осыпали комплиментами натуру.

Мюзадье никогда не нарушал этого обычая. Его мнение — мнение знатока, облеченного доверием государства, — значило не меньше, чем официальная оценка, и он считал своим долгом время от времени с глубоким убеждением утверждать, что портрет превосходен.

— Это лучший современный портрет из всех, какие я только знаю, — сказал он. — Он живет какой-то внутренней, волшебной жизнью.

Граф де Гильруа давно привык выслушивать похвалы портрету, и это поселило в нем уверенность, что он является обладателем шедевра; он подошел поближе к полотну, чтобы подогреть восторги гостей, и минуты две он и Мюзадье сыпали всевозможными общеупотребительными и специальными терминами, чтобы восславить как видимые, так и скрытые его достоинства.

Все взоры, устремленные к стене, казалось, не могли оторваться от портрета, и Оливье Бертен, привыкший к такого рода восхвалениям и обращавший на них так же мало внимания, как на вопросы о здоровье при случайных встречах на улице, все-таки поправил стоявшую перед портретом и освещавшую его лампу с рефлектором, которую слуга по небрежности поставил чуть косо.

Потом все расселись, а граф подошел к герцогине, и та сказала ему:
— Мой племянник наверно заедет за мной и попьет у вас чайку.

С некоторых пор у них возникла общая цель, и оба они это понимали, хотя еще не говорили об этом ни прямо, ни намеками.

Брат герцогини де Мортмен — маркиз де Фарандаль, — проигравший почти все свое состояние, разбился, упав с лошади, и оставил вдову и сына. Этот молодой человек, которому исполнилось теперь двадцать восемь лет, был одним из тех дирижеров европейских балов, которые всюду нарасхват; иногда его приглашали даже в Вену и в Лондон, чтобы он украсил придворные балы несколькими турами вальса; хотя у него не было почти никаких средств, он, благодаря своему положению, происхождению, имени и родственным связям чуть ли не с коронованными особами, был одним из тех людей, знакомства с которыми в Париже больше всего ищут и которым больше всего завидуют.

Эту славу, еще слишком юную, славу танцевальную и спортивную, необходимо было упрочить и, после выгодного, очень выгодного брака, сменить успехи светские на успехи политические. Достаточно будет маркизу пройти в депутаты, как он сразу станет одним из столпов будущего трона, одним из советников короля и одним из вождей партии.

Герцогиня, женщина прекрасно осведомленная, знала, каким громадным состоянием обладает граф де Гильруа, этот расчетливый скопидом, занимавший обыкновенную квартиру, тогда как мог бы жить по-княжески в любом из лучших парижских особняков. Ей были известны его неизменно удачные спекуляции, его тонкий нюх — нюх финансиста, его участие в самых доходных предприятиях, возникших за последние десять лет, и она начала подумывать о том, чтобы женить племянника на дочери нормандского депутата, которому этот брак мог бы обеспечить решающую роль среди той части аристократов, которые окружали принцев. Гильруа, сам выгодно женившийся и, благодаря своей ловкости, умноживший собственное превосходное состояние, вынашивал теперь новые честолюбивые замыслы.

Он верил в возвращение короля и хотел в надлежащий момент постараться воспользоваться этим как можно лучше.

В качестве простого депутата он был не очень влиятелен. Но как тесть маркиза де Фарандалья, потомка верных и любимых приближенных французского королевского дома, он выдвигался в первые ряды.

Кроме того, дружба герцогини с его женой придавала этому союзу столь необходимый в такого рода делах характер интимной близости, и, опасаясь, как бы маркизу не подвернулась другая девушка, которая могла

бы ему понравиться, Гильруа, дабы ускорить события, выписал в Париж свою дочь.

Герцогиня де Мортмен, догадывавшаяся о его планах и понимавшая, каковы они, дала свое молчаливое согласие, и как раз сегодня она, даже не зная еще о внезапном возвращении девушки, посоветовала племяннику заехать к супругам Гильруа — она хотела постепенно приучить его к этому дому.

В первый раз граф и герцогиня обнявшем завели разговор о своих намерениях, а когда они расставались, договор о союзе между ними был уже заключен.

В другом углу гостиной раздавался смех. Де Мюзадье рассказывал баронессе де Корбель о том, как некое негритянское посольство было представлено президенту республики, но тут доложили о маркизе де Фаран-Дале.

Маркиз показался в дверях и остановился. Быстрым, привычным жестом он вставил в правый глаз монокль, словно пытаясь узнать комнату, в которую он попал, а быть может, и желая дать время людям, сидевшим в ней, обратить внимание на его появление и разглядеть его. Затем неуловимым движением щеки и брови он сбросил стеклышко, висевшее на черном шелковом шнурке, быстрым шагом подошел к графине де Гильруа и, низко склонившись, поцеловал протянутую ему руку. Так же поздоровался он и с теткой, а затем пожал руки всем остальным, переходя от одного к другому с грациозной непринужденностью.

Это был уже начинавший лысеть высокий рыжеусый малый с военной выправкой и с повадками английского спортсмена. При взгляде на него чувствовалось, что это один из тех людей, у которых тело более приучено к деятельности, чем голова, и которые не любят других занятий, кроме развивающих физическую силу и ловкость. Тем не менее он был образован; он изучал и доселе с великою натугой продолжал ежедневно изучать то, что впоследствии могло ему пригодиться: историю, — он с особым усердием зазубривал даты, пренебрегая сутью дела, — необходимые депутату начатки политической экономии, азбуку социологии, предназначенной для правящих классов.

Мюзадье уважал его и говорил: «Этот человек далеко пойдет». Бертен ценил его ловкость и силу. Они ходили в один и тот же фехтовальный зал, часто вместе охотились и встречались на прогулках верхом в аллеях Булонского леса. Общность вкусов рождала между ними обоюдную симпатию, ту инстинктивную масонскую связь, какую создает между мужчинами любая тема для разговора, одинаково приятная для обоих.

Когда маркиза представляли Аннете де Гильруа, он моментально догадался о теткинских планах и, поклонившись девушке, окинул ее быстрым взглядом знатока.

Он нашел, что она миловидна, а главное — много обещает: на своем веку он продирижировал столькими котильонами, что научился разбираться в молоденьких девушках и, подобно дегустатору, пробующему совсем еще молодое вино, мог почти безошибочно предсказать, как будет расцветать их красота.

Он обменялся с ней несколькими ничего не значащими фразами, а затем подсел к баронессе де Корбель и принялся вполголоса сплетничать с нею.

Гости разошлись рано, и, когда не осталось никого, когда дочь легла, лампы потухли, а слуги поднялись к себе, граф де Гильруа, шагая назад и вперед по гостиной, освещенной всего-навсего двумя свечами, долго еще не отпускал дремавшую в кресле графиню: он непременно должен был рассказать ей о своих надеждах, подробно объяснить, какой тактики надо придерживаться, какие меры предосторожности принять, и обсудить с нею всевозможные комбинации и шансы.

Было уже поздно, когда он ушел к себе, в восторге от своего вечера.

«Мне кажется, дело в шляпе», — подумал он,

Глава 3

«Когда же Вы придете, друг мой? Я не видела Вас целых три дня, и они показались мне такими долгими! Дочь отнимает у меня много времени, но ведь Вы знаете, что я давно уже не могу жить без Вас».

Художник, который все еще искал новый сюжет и делал наброски карандашом, перечитал записку графини, потом выдвинул ящик письменного стола и положил ее на груду других писем, копившихся там с самого начала их связи.

Благодаря свободе светской жизни, они привыкли видеться почти каждый день. Время от времени она приходила к нему и, не мешая ему работать, просиживала час, а то и два в том самом кресле, в котором когда-то позировала. Но она побаивалась пересудов прислуги и потому, чтобы видеться с ним ежедневно, чтобы получать эту мелкую монету любви, она предпочитала принимать его у себя или видеть его в гостиных у общих знакомых.

Они заранее улаживались об этих встречах, в которых граф де Гильруа не находил ничего подозрительного.

Художник обедал у графини вместе с несколькими друзьями не меньше двух раз в неделю; по понедельникам он неизменно заходил к ней в ложу в Опере; кроме того, они назначали друг другу свидания в том или ином доме, куда случай приводил их в одно и то же время. Он знал, в какие вечера она не выезжает, и в эти вечера заходил к ней попить чайку; подле нее он чувствовал себя как дома — так нежна, так надежно помещена была эта давняя привязанность и такой властной была привычка встречаться с графиней в каких-то гостиных, проводить с нею несколько минут, обмениваться с нею несколькими словами, делиться какими-то мыслями, что он, хотя пламя его глубокой нежности давно уже сникло, постоянно чувствовал, что ему необходимо видеть графиню де Гильруа.

Потребность в семье, в оживленном и многочисленном доме, в совместной трапезе, в тех вечерах, когда люди без устали болтают со своими давними знакомыми, та потребность в общении, в частых встречах, в интимной близости, — потребность, которая дремлет в сердце каждого человека и которую все старые холостяки носят с собой по домам своих друзей, в каждом из которых они устраивают нечто вроде домашнего уголка, — сообщала его привязанности силу эгоизма. Здесь его любили,

баловали, здесь он получал решительно все, здесь же он мог и отдыхать и лелеять свое одиночество.

Три дня он не виделся со своими друзьями, которых приезд дочери, наверное, совершенно выбил из колеи, — и он уже скучал и даже был немного обижен, что его до сих пор еще не пригласили, и только деликатность не позволяла ему напомнить о себе.

Письмо графини взбодрило его как удар хлыста. Было три часа пополудни. Он решил немедленно отправиться к ней, чтобы застать ее дома.

На его звонок явился камердинер.

— Какая сегодня погода, Жозеф?

— Прекрасная, сударь.

— Тепло?

— Да, сударь.

— Белый жилет, синий сюртук и серую шляпу. Одевался он всегда весьма элегантно, и тем не менее, хотя его портной отличался безупречным вкусом, по одной манере носить костюм, по одному тому, как он ходил, спрятав живот под белым жилетом, по его высокой серой фетровой шляпе, немного сдвинутой на затылок, в нем, казалось, сейчас виден был художник и холостяк.

Когда он пришел к графине, ему сказали, что она собирается на прогулку в Булонский лес. Это его раздосадовало, но он решил подождать. На легких столиках с позолоченными ножками в обдуманном беспорядке были разбросаны всевозможные изящные вещицы, бесполезные, красивые и дорогие. Тут были старинные золотые коробочки с гравировкой, табакерки, украшенные миниатюрами, статуэттки из слоновой кости, а также совершенно современные изделия из матового серебра, выполненные с чисто английским чувством юмора: крошечная кухонная плита, а на ней кошка, лакающая из кастрюльки, папиросочница в виде большого хлеба, спичечница в виде кофейника и, в футлярчике, полный убор для куклы: ожерелья, браслеты, перстни, брошки, серьги, осыпанные бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами, — микроскопическая фантазия, казалось, выполненная ювелирами Лилипутии.

Время от времени Бертен трогал какую-нибудь вещь, им же самим подаренную по случаю того или иного семейного торжества, брал ее в руки, вертел, рассматривал с каким-то задумчивым безразличием и ставил на место.

В углу, на круглом столике на одной ножке, стоявшем перед круглым диванчиком, лежали и сами просились в руки книги в роскошных

переплетах, как ни странно — раскрытые. Тут вы могли увидеть также и Ревю де Монд, слегка помятый и потрепанный, с загнутыми углами страниц, словно его без конца читали и перечитывали, и другие, еще не разрезанные журналы: Современное, искусство, которое мы должны выписывать только потому, что оно дорого стоит, — подписка на него обходится в четыреста франков в год, — и Свободный листок — тощую книжонку в голубой обложке, на страницах которой соловьями разливаются новейшие поэты, — так называемые «Раздражительные».

Между окнами стояло бюро графини, кокетливое творение минувшего века, на котором она писала ответы на срочные записки, принесенные во время приема гостей. На бюро лежало еще несколько книг — то были любимые произведения, вывеска женского ума и сердца: Мюссе, Манон Леско, Вертер, и, дабы показать, что здесь не чуждаются сложных ощущений и психологических загадок, — Цветы зла, Красное и черное. Женщина а XVIII веке, Адольф.

Рядом с книгами, на куске расшитого бархата, лежало прелестное ручное зеркало — шедевр ювелирного искусства; оно было повернуто стеклом вниз, чтобы посетители имели возможность восхищаться причудливой золотой и серебряной инкрустацией.

Бертен взял зеркало и посмотрелся в него. За последние годы он страшно постарел, и, хотя он и считал, что теперь лицо его стало более оригинальным, его все же начинали огорчать обвисшие щеки и сеть морщин. За его спиной отворилась дверь.

— Здравствуйте, господин Бертен! — сказала Аннета.

— Здравствуй, детка! Как поживаешь?

— Очень хорошо; а вы?

— Как? Ты решительно отказываешься говорить мне «ты»?

— Отказываюсь; мне, право, неудобно.

— Ну, полно!

— Да, да, неудобно. Я вас стесняюсь.

— Это почему же?

— Потому что... потому что вы уже не молоды, но еще не стары!..

Художник рассмеялся.

— Ну, после такого довода я сдаюсь. Внезапно она покраснела до той белой полоски лба, где начинаются волосы.

— Мама поручила мне сказать вам, что она сейчас спускается, — смущенно продолжала девушка, — и спросить вас, не хотите ли поехать с нами в Булонский лес.

— Конечно, хочу. Вы едете одни?

- Нет, с герцогиней де Мортмен.
- Прекрасно, и я с вами.
- Тогда, с вашего разрешения, я пойду надену шляпу.
- Иди, дитя мое.

Не успела она выйти, как вошла графиня в шляпе с вуалью, готовая к выезду. Она протянула ему руки.

— Что это вас не видно, Оливье? Чем вы заняты?

— Я не хотел мешать вам в эти дни. В одно это слово «Оливье» она вложила все упреки и всю свою любовь.

— Вы лучшая женщина в мире, — сказал он, тронутый тем, как прозвучало его имя.

Едва с этой легкой затаенной обидой было покончено и все уладилось, она заговорила в тоне светской болтовни:

— Мы заедем за герцогиней, а потом покатаемся по лесу. Надо показать все это Нанете.

Ландо ожидало их у ворот.

Бертен сел напротив дам, карета тронулась, и топот копыт раздался под гулкими сводами.

Вся радость молодой весны, казалось, спустилась с неба ко всему живущему на большом бульваре, ведущем к церкви Магдалины.

Теплый воздух и солнце придавали праздничный вид мужчинам, вид влюбленных — женщинам, заставляли прыгать уличных мальчишек и белых поварят, которые, поставив свои корзины на скамейки, бегали и играли со своими товарищами — юными оборванцами, собаки, казалось, куда-то торопились, канарейки у привратниц так и заливались, и только старые извозчичьи клячи все так же брели своим унылым шагом, своей мелкой рысцой еле живых существ.

— Какой прекрасный день! Как хорошо жить на свете! — прошептала графиня.

При ярком солнечном свете художник рассматривал то мать, то дочь. Конечно, между ними была разница, но в то же время было и такое сходство, что одна казалась продолжением другой, казалась созданной из той же крови, из той же плоти и одушевленной тою же жизнью. Особенно глаза, голубые глаза с черными пятнышками, ярко-голубые у дочери и чуть поблекшие у матери, смотрели на него, когда он говорил, совершенно одинаково, так что он готов был услышать от обеих в ответ одно и то же. И, заставляя их смеяться и болтать, он с удивлением видел, что перед ним две совершенно разные женщины, — одна уже пожившая, другая только начинавшая жить. Нет, он не сумел бы сказать, что выйдет из этого ребенка,

когда его юный ум под влиянием инстинктов и вкусов, пока еще дремлющих, расцветет и раскроется навстречу жизни. Сейчас это было хорошенькое, маленькое, свежее существо, никому не ведомое и ничего не ведающее, готовое идти навстречу случайностям и любви, подобно кораблю, выходящему из гавани, тогда как мать, прошедшая свой жизненный путь и познавшая любовь, возвращалась в нее.

Он растрогался при мысли, что именно его избрала и до сих пор предпочитает всем на свете эта всегда красивая женщина, которую обвевал в ландо теплый весенний воздух.

Он взглядом выразил ей свою признательность, она это поняла, и в прикосновении ее платья он почувствовал ответную благодарность.

— О да, какой прекрасный день! — прошептал он.

Заехав за герцогиней на улицу Варенн, они направились к Дому инвалидов, переехали Сену и, подхваченные волною других карет, покатали по авеню Елисейских полей и поднялись к Триумфальной арке Звезды.

Девушка, сидевшая теперь рядом с Оливье, спиной к лошадям, жадно смотрела на этот поток экипажей широко раскрытыми, наивными глазами. Время от времени герцогиня и графиня легким кивком головы отвечали на чей-нибудь поклон, и тогда она спрашивала: «Кто это?» «Понтеглени», или: «Пюисельси», или: «Графиня де Локрист», или «Красавица, госпожа Мандельер», — отвечал Бертен.

Сейчас они ехали по центральной аллее Булонского леса, среди грохота и мелькания колес. Экипажам было здесь не так тесно, как перед Триумфальной аркой, и они, казалось, состязались в неустанном беге. Фиакры, тяжелые ландо, величественные восьмигрессорные кареты обгоняли друг друга, но внезапно вырвалась вперед виктория, запряженная одним рысаком и с бешеной скоростью уносившая сквозь всю эту катившуюся буржуазную и аристократическую толпу, сквозь все классы, все сословия, все ранги и титулы небрежно развалившуюся молодую женщину в смелом светлом туалете, овевшем кареты, мимо которых ехала его обладательница, странным запахом неведомого цветка.

— А кто эта дама? — спросила Аннета. Бертен отвечал: «Не знаю», а герцогиня и графиня обменялись улыбками.

Почки на деревьях распускались, соловьи, привыкшие к этому парижскому парку, уже защелкали в молодой листве. Приближаясь к озеру, ландо поехало шагом, и из кареты в карету, колеса которых задевали друг друга, полились нескончаемые приветствия, улыбки и комплименты. Теперь это напоминало скольжение по воде флотилии лодок, в которых

сидят благовоспитанные дамы и господа. Герцогиня, поминутно кивавшая головой тем, кто снимал шляпу и кланялся ей, словно производила смотр, и, по мере того, как эти люди проезжали мимо, припоминала все, что она знала, думала или подозревала.

— Смотри, детка, вот опять прекрасная госпожа Мандельер, украшение Франции.

Сидя в легкой, кокетливой карете, украшение Франции с притворным равнодушием к этой своей общепризнанной славе позволяло любоваться своими большими темными глазами, низким лбом под шлемом черных волос и властным, чуть великоватым ртом.

— Все-таки она очень хороша, — заметил Бертен. Графиня не любила, когда он восхищался другими женщинами. Она слегка пожала плечами и ничего не ответила.

Но девушка, в которой внезапно проснулся инстинкт соперничества, осмелилась возразить:

— А я этого не нахожу. Художник повернулся к ней:

— Как, ты не находишь ее красивой?

— Нет, у нее такой вид, словно ее окунули в чернила. Герцогиня в восторге засмеялась.

— Браво, детка! Вот уже шесть лет, как половина парижских мужчин без ума от этой негрityнки! У меня такое впечатление, что они забыли о нашем существовании. Стой! Посмотри-ка лучше на графиню де Локрист.

С белым пуделем в ландо, изящная, как миниатюра, блондинка с карими глазами, тонкие черты которой тоже вот уже лет шесть вызывали восторженные восклицания у ее поклонников, раскланивалась с улыбкой, застывшей у нее на губах.

Нанета опять не выразила восхищения.

— Но ведь графиня уже не первой молодости, — заметила она.

Бертен в ежедневных спорах об этих двух соперницах обычно не стоял за графиню, но тут он неожиданно рассердился на привередливость какой-то девчонки.

— Черт побери! — сказал он. — Она может кому-то нравиться больше, кому-то меньше, но она очаровательна, и я желаю тебе стать такой же красивой, как она.

— Будет вам! — вмешалась герцогиня. — Вы замечаете только тех женщин, которым перевалило за тридцать. Девочка права: вы расхваливаете только тех, которые уже отцветают.

— Позвольте! — воскликнул он. — Женщина становится воистину красивой только в более позднем возрасте, когда весь ее облик совершенно

вырисовывается.

И, развивая мысль о том, что первая свежесть — это только лак на созревающей красоте, он стал доказывать, что светские мужчины не ошибаются, когда не обращают особого внимания на молодых женщин в пору их полного блеска, и что они правы, когда провозглашают их красавицами лишь к концу их расцвета.

— Он прав, он судит как художник. Юное личико — это очень мило, но всегда немного банально, — тихо сказала польщенная графиня.

Художник, продолжая отстаивать свою точку зрения, заметил, что приходит время, когда лицо начинает утрачивать неуловимую прелесть юности и приобретает свои окончательно определившиеся черты, свой характер, свое выражение.

Графиня соглашалась с каждым его словом, выражая свое согласие решительными кивками головы, и чем упорнее он отстаивал свою мысль — с жаром адвоката, произносящего защитительную речь, с воодушевлением подсудимого, доказывающего свою невиновность, — тем смелее она ободряла его взглядами и жестами, как если бы они заключили договор о взаимной поддержке в час беды, о совместной защите от чьего-то опасного и ошибочного мнения. Аннета, вся ушедшая в созерцание, почти не слушала их. Ее смеющееся личико стало серьезным, и она примолкла, опьяненная радостью этой толчеи. Это солнце, эта листва, эти экипажи, эта прекрасная, роскошная и веселая жизнь — все это было для нее!

Она тоже сможет приезжать сюда каждый день, и ее так же все будут знать, будут кланяться ей и завидовать, а мужчины, указывая на нее, быть может, скажут, что она красива. Она все время выискивала глазами самых, по ее мнению, элегантных мужчин и женщин, и спрашивала их имена, интересуясь лишь теми сочетаниями слогов, которые когда-то нередко попадались ей в газетах или в учебнике истории и которые сейчас порою вызвали в ней нечто похожее на уважение и восторг. Она все никак не могла прийти в себя при виде этой вереницы знаменитостей и даже не вполне верила в то, что они настоящие, — ей казалось, что она смотрит какой-то спектакль. Фиакры вызвали у нее презрение, смешанное с отвращением, мешали ей, раздражали ее, и неожиданно она сказала:

— По-моему, сюда следовало бы пускать только собственные выезды.

— Прекрасно, мадмуазель; ну, а как же быть со свободой, равенством и братством? — спросил Бертен.

Она сделала гримасу, означавшую: «Об этом рассказывайте кому-нибудь другому», — и продолжала:

— Извозчики могли бы ездить и в другой лес, — например, в

Венсенский.

— Ты отстаешь, детка, ты еще не знаешь, что у нас теперь расцвет демократии. Впрочем, если ты хочешь видеть Булонский лес во всей его красе, приезжай сюда утром: ты найдешь здесь только цвет, самый цвет общества.

И он тут же набросал картину, одну из тех картин, которые так хорошо ему удавались, — картину утреннего Леса с его всадниками и амазонками, этого клуба для избранных, где все знают друг друга по именам и даже по уменьшительным именам, знают родственные связи, титулы, добродетели и пороки, как если бы все эти люди жили в одном квартале или в одном провинциальном городишке.

— А вы часто здесь бываете? — спросила она.

— Очень часто; право же, это самый прелестный уголок Парижа.

— По утрам вы ездите верхом?

— Ну да!

— А после, днем, вы делаете визиты?

— Да.

— Но когда же вы работаете в таком случае?

— Ну, работаю я... когда придется! Ведь я пишу портреты красивых женщин, — я выбрал занятие себе по вкусу, — а раз так, я должен видеть и сопровождать их едва ли не всюду.

— И пешком и верхом? — по-прежнему без улыбки прошелестела она.

Он искоса бросил на нее довольный взгляд, казалось, говоривший: «Ну, ну! Уже остришь. Для начала недурно!» Налетел порыв холодного ветра, примчавшегося издалека, с шири равнин, еще не совсем пробудившихся от спячки, — и весь лес, весь этот кокетливый, зябкий, великосветский лес вздрогнул.

Несколько секунд дрожали листочки на деревьях и платья на плечах. Все женщины почти одинаковым движением снова накрыли руки и грудь спустившимися было с плеч накидками, а лошади рысью понеслись с одного конца аллеи к другому, словно их подхлестнул промчавшийся по их спинам пронизывающий ветер.

На обратном пути, под серебристое позвякивание уздечек, они ехали быстро, и их заливал косой, красный дождь лучей заходящего солнца.

— Разве вы возвращаетесь домой? — спросила художника графиня, знавшая все его привычки.

— Нет, я еду в клуб.

— В таком случае мы вас подвезем.

— Отлично, благодарю вас.

— А когда вы пригласите нас с герцогиней к себе на завтрак?

— В любой удобный для вас день.

Этот придворный живописец парижанок, которого поклонники окрестили «Ватто эпохи реализма», а хулители называли «фотографом дамских платьев и манто», часто принимал у себя то за завтраком, то за обедом красивых женщин, которые ему позировали, а также других дам, непременно известных, непременно знаменитых, и всем им очень нравились эти маленькие развлечения в доме холостяка.

— Может быть, послезавтра? Вам будет удобно послезавтра, дорогая герцогиня? — спросила графиня де Гильруа.

— Да, да; вы очень любезны. Господин Бертен никогда не подумает обо мне в такого рода случаях. Сейчас видно, что я уже немолода.

Графиня, привыкшая смотреть на дом художника до некоторой степени как на свой собственный, сказала:

— Будем только мы вчетвером, только наша сегодняшняя четверка: герцогиня, Аннета, я и вы, — не так ли, господин великий художник?

— Никого, кроме нас, — подтвердил он, выходя из кареты. — Я вас угощу раками по-эльзасски.

— Ох! Этак вы избалуете девочку!

Он откланялся, стоя у дверцы экипажа, потом быстро вошел в парадный вестибюль клуба, бросил пальто и трость армии лакеев, вскочивших, словно солдаты при появлении офицера, поднялся по широкой лестнице, прошел мимо другого отряда слуг в коротких панталонах, толкнул какую-то дверь и внезапно почувствовал себя бодрым, как юноша, услышав в конце коридора несмолкаемый лязг скрежещающихся рапир, топот ног и громкие голоса:

— Задет!

— Мне!

— Мимо!

— Попало!

— Задет!

— Вам!

В фехтовальном зале состязались противники в серых полотняных куртках, в кожаных безрукавках, в штанах, стянутых у щиколоток, и в каком-то подобии фартуков, закрывавших грудь и живот; подняв левую руку, согнутую в кисти, и держа в правой, которая казалась огромной из-за перчатки, тонкую и гибкую рапиру, они делали выпады и выпрямлялись с быстротой и гибкостью заводных марионеток.

Другие отдыхали, разговаривали, красные, потные, все еще тяжело

дыша и держа в руке носовой платок, которым они вытирали лоб и шею; третьи, сидя на четырехугольном диване, опоясывавшем весь громадный зал, наблюдали за состязаниями. Ливерди был противником Ланда, а клубный учитель фехтования Тайяд — противником верзилы Рокдиана.

Бертен, чувствовавший себя здесь как дома, улыбался и пожимал руки.

— Я с вами! — крикнул ему барон де Бавери.

— К вашим услугам, дорогой мой. И он пошел в гардеробную переодеваться. Давно уже не чувствовал он себя таким сильным и ловким и, предчувствуя, что будет иметь успех в состязании, торопился с нетерпением школьника, который бежит играть. Очутившись лицом к лицу с противником, он сразу атаковал его с невероятной горячностью и, задев его одиннадцать раз за десять минут, так утомил его, что барон запросил пощады. Потом он сразился с Пюнизимоном и со своим коллегой Амори Мальданом.

Ледяной душ, охладивший его распаренное тело, напомнил ему о том, как он, когда ему было двадцать лет, купался глубокой осенью, бросаясь с загородного моста в Сену вниз головой, чтобы потрясти буржуа.

— Ты здесь обедаешь? — спросил его Мальдан.

— Да.

— У нас отдельный столик с Ливерди, Рокдианом и Ланда. Поскорее: уже четверть восьмого!

Переполненная столовая жужжала, как потревоженный улей.

Здесь были все парижские полуночники, все бездельники и праздношатайки, все те, кто не знает, чем заняться после семи вечера, и обедает в клубе, надеясь на случайную встречу, чтобы прицепиться к кому-то или к чему-то.

Как только пятеро приятелей уселись за стол, банкир Ливерди, коренастый, крепкий сорокалетний мужчина, сказал Бертену:

— Вы сегодня прямо как бешеный.

— Да, нынче я мог бы творить чудеса, — отвечал художник.

Остальные улыбнулись, а пейзажист Амори Мальдан, низкорослый, тощий, плешивый, седобородый человечек, с лукавым видом сказал:

— Вот и у меня тоже в апреле всегда бывает прилив новых сил, и на мне появляется несколько листочков, самое большее с полдюжины, а потом все это выливается в чувство, только вот плодов не бывает никогда.

Маркиз де Рокдиан и граф де Ланда выразили ему соболезнование. Оба они были старше Мальдана, хотя самый опытный взгляд не мог бы точно определить их возраст, оба были клубными завсегдатаями, наездниками и фехтовальщиками, тело у них, благодаря постоянным

упражнениям, стало железным, и оба хвалились, что во всех отношениях они моложе изнеженных повес молодого поколения.

Рокдиан, человек знатного происхождения, был принят во всех домах, даром что его подозревали во всевозможных темных денежных делишках, — оно и неудивительно, утверждал Бертен, коль скоро маркиз столько лет не вылезал из игорных домов; он был женат, но не жил с женою, которая выплачивала ему ренту, состоял директором бельгийского и португальского банков, и весь его энергический облик, облик Дон Кихота, говорил о том, что он весьма дорожит своей несколько замаранной честью — честью дворянина, пустившегося во все тяжкие, честью, которую время от времени омывала кровь царапины, полученной на дуэли.

Граф де Ланда был добродушный великан, гордившийся своим ростом и широкими плечами; у него была жена и трое детей, но, несмотря на это, он с превеликим трудом заставлял себя обедать дома три раза в неделю, остальные же дни, после состязаний в фехтовальном зале, проводил с приятелями в клубе.

— Клуб, — говаривал он, — это семья для тех, кто еще не обзавелся семьей, для тех, у кого ее никогда не будет, и для тех, кому скучно в своей семье.

Сперва разговор зашел о женщинах, затем начались анекдоты, затем — воспоминания, потом собеседники расхвастались и даже пустились в излишние откровенности.

Маркиз де Рокдиан предоставлял слушателям догадываться о том, кто были его любовницы, весьма точно их описывая; это были светские женщины, и он не упоминал их фамилий.

Банкир Ливерди называл имена своих любовниц. Он рассказывал так:

— В то время я был очень близок с женой одного дипломата. И вот как-то вечером, уже уходя от нее, говорю: «Знаешь, малютка Маргарита...» Видя на лицах слушателей улыбки, он останавливался, но тут же продолжал:

— Эх, вот я и сболтнул лишнее! Следовало бы взять за правило называть всех женщин Софи.

Оливье Бертен, человек весьма сдержанный, на все вопросы обычно отвечал так:

— Я довольствуюсь своими натурщицами. Приятели делали вид, что верят ему, а Ланда, отдававший предпочтение обыкновенным девкам, оживлялся при мысли о всех лакомых кусочках, которые ходят по улицам, и о всех молодых особах, раздевающихся перед художником за десять франков в час.

По мере того, как бутылки пустели, в «наших старичках», как называла их клубная молодежь, в «наших старичках», покрасневшихся, разгоряченных, пробуждались подогретые вином желания, разгорались страсти.

После кофе Рокдиан разболтался, — теперь его рассказы стали более правдоподобными, — и, позабыв о светских женщинах, принялся воспевать обыкновенных кокоток.

— Париж, — говорил он, держа в руке рюмку кюммеля, — это единственный город, где мужчина не стареет, единственный город, где мужчина и в пятьдесят лет, если только он хорошо сохранился и еще крепок, всегда найдет восемнадцатилетнюю крошку, такого прелестного ангелочка, который его полюбит.

Ланда, убедившись, что после ликеров Рокдиан стал самим собой, принялся восторженно подпевать ему и перечислять всех молоденьких девочек, которые до сих пор все еще обожали его.

Но Ливерди, человек более скептической складки, утверждавший, что хорошо знает настоящую цену женщинам, пробурчал:

— Ну да, они всегда будут говорить вам, что обожают вас.

— Они мне это доказывают, дорогой мой, — возразил Ланда.

— Такие доказательства не в счет.

— С меня их довольно.

— Да они сами в этом уверены, черт побери! — вскричал Рокдиан. — Неужели вы думаете, что такая славненькая двадцатилетняя бестия, которая уже лет пять, а то и шесть, ведет развеселую жизнь, да еще в Париже, где все наши усы приохотили ее к поцелуям, а потом отбили к ним всякую охоту, еще может отличить тридцатилетнего мужчину от шестидесятилетнего? Полно вам вздор молоть! Больно много повидала она видов и больно много знает. Да я готов биться об заклад, что в глубине души она предпочитает, то есть искренне предпочитает старика-банкира юному хлыщу! Но разве она это понимает, разве она думает об этом? Разве у здешних мужчин есть возраст? Э, дорогой мой, наш брат только молодеет с появлением седины, и чем больше мы седеем, тем чаще слышим, что нас любят, тем усерднее это нам доказывают, и тем глубже в это верят.

Побагровевшие, подхлестнутые алкоголем, готовые на поиски всевозможных приключений, они встали из-за стола и принялись обсуждать программу сегодняшнего вечера: Бертен предлагал цирк, Рокдиан — ипподром, Мальдан — Эдем, а Ланда — Фоли-Бержер, но тут до них донеслись легкие, отдаленные звуки настраиваемых скрипок.

— Стойте! — сказал Рокдиан. — Стало быть, сегодня в клубе музыка?

— Да, — отвечал Бертен. — А что, если мы минут на десять заглянем туда перед уходом?

— Пойдем.

Пройдя салон, бильярдную и игорный зал, они попали в некое подобие ложи, возвышавшейся над эстрадой для оркестра. Четыре господина, удобно расположившись в креслах, с сосредоточенным видом ждали начала, а внизу, в пустом зале, сидя и стоя беседовали еще человек десять.

Дирижер легонько постучал палочкой по пульту, и концерт начался.

Оливье Бертен обожал музыку так, как обожают опиум. Она будила в нем мечты.

Как только его слуха достигала звуковая волна, льющаяся с инструментов, он ощущал прилив пьянящего упоения, наполнявшего и душу, и тело необыкновенным трепетом. Под гипнозом мелодий его воображение, как безумное, носилось в милых сердцу грезах и сладких мечтах. Закрыв глаза, положив ногу на ногу, опустив ослабевшие руки, он слушал звуки и видел образы, роившиеся перед его взором и в его мозгу.

Оркестр играл симфонию Гайдна, и художник, смежив веки, тотчас вновь увидел Булонский лес, множество экипажей вокруг, а напротив, в ландо — графиню и ее дочь. Он слышал их голоса, следил за ходом их разговора, ощущал колыхание экипажа, вдыхал воздух, напоенный запахом листвы.

Трижды его сосед, обращаясь к нему, спугивал это видение, и три раза оно возникало вновь, подобно тому, как после морского плавания у вас, когда вы лежите в неподвижной постели, вновь возникает ощущение качки.

Затем видение расширилось, растянулось в целое путешествие с этими двумя женщинами, сидевшими против него то в вагоне, то за столиком в гостинице где-то за границей. Так они сопровождали его до тех пор, пока не кончилась симфония, словно за время прогулки по солнцу лица обеих женщин запечатлелись в глубине его зрачков.

Тишина, затем шум голосов и отодвигаемых стульев разогнали его туманные грезы, и он увидел, что рядом с ним, в трогательных позах людей, внимание которых побеждено сном, спят четверо его приятелей.

Разбудив их, он спросил:

— Ну, что мы будем делать теперь?

— Мне хочется поспать здесь еще немножко, — откровенно признался Рокдиан.

— И мне тоже, — подхватил Ланда. Бертен поднялся.

— Ну, а я пойду домой: я что-то устал. Он чувствовал себя как раз очень оживленным, но ему хотелось уйти: он хорошо знал, что такие вечера

обычно кончаются в клубе за столом для игры в баккара; и боялся этого.

Словом, он вернулся домой, а на следующий день, после бессонной ночи — одной из тех ночей, что вызывают у художников прилив интенсивной умственной деятельности, которую окрестили вдохновением, — решил никуда не выходить и работать до вечера.

То был чудесный день, один из таких дней, когда работается легко, когда мысль, кажется, переходит в руку и сама собой запечатлевается на полотне.

Затворив двери, отгородившись от мира в безмолвии особняка, закрытого для всех, в дружественной тишине мастерской, он, бодрый, перевозбужденный, с острым взглядом и ясной головой, наслаждался счастьем, дарованным одним лишь художникам, — счастьем радостного зачатия своего творения. В эти часы, часы работы, для него уже не существовало ничего, кроме полотна, на котором под ласками его кисти зарождался образ, и в эти минуты оплодотворения он испытывал странное и радостное чувство бьющей через край жизни, жизни хмелеющей и разливающейся вокруг. К вечеру он валился с ног от здоровой усталости; он лег спать с приятной мыслью о завтраке, назначенном на следующее утро.

Стол был уставлен цветами, меню в расчете на графиню де Гильруа — изощренную чревоугодницу — составлено чрезвычайно заботливо, и, несмотря на энергичное, но недолгое сопротивление, художник заставил своих гостей выпить шампанского.

— Девочка опьянеет, — говорила графиня.

— Боже мой, надо же когда-нибудь начать! — снисходительно восклицала герцогиня.

Переходя в мастерскую, все чувствовали, что слегка возбуждены тем бездумным весельем, которое отрывает человека от земли, как если бы на ногах у него выросли крылья.

Герцогиня и графиня, которым надо было ехать в Комитет французских матерей, хотели сперва завести Аннету домой, а потом уже отправиться в свое Общество, но Бертен предложил пройти с нею пешком и проводить ее на бульвар Мальзерб, так что они вышли вместе.

— Давайте пойдем самой дальней дорогой, — сказала Аннета.

— Хочешь побродить по парку Монсо? Это прелестный уголок; посмотрим на детишек и нянь.

— О да, очень хочу!

Пройдя по авеню Веласкеса, они миновали монументальную золоченую решетку, которая служит одновременно и вывеской и входом в

эту жемчужину парков, расположившую в самом центре Парижа свою утонченную, искусственную, зеленую красоту, замкнутую в кольцо аристократических особняков.

Вдоль широких аллей, развернувших причудливые излучины среди лужаек и рощиц, множество женщин и мужчин, сидя на железных стульях, смотрят на прохожих, а на узеньких дорожках, прячущихся в тени и извивающихся, подобно ручейкам, копошится в песке, бегают, прыгает через веревочку под небрежным надзором нянек или под беспокойными взглядами матерей детвора. Громадные, куполообразно подстриженные деревья, похожие на монументы из листьев, гигантские каштаны, тяжелая зелень которых обрызгана красными и белыми соцветиями, изящные сикоморы, декоративные платаны с их причудливо изогнутыми стволами украшают, пленяя взор, широкие, волнистые газоны.

Жарко; воркуют горлицы, залетая в гости то на одну вершину, то на другую, воробьи купаются в водяной пыли, расцвеченной солнцем на свежей траве, — газоны только что полили. Белые статуи, кажется, блаженствуют на своих пьедесталах среди этой зеленой прохлады. Мраморный юноша вытаскивает из ноги невидимую занозу: он словно только что укололся, догоняя Диану, бегущую вон туда, к озерку, которое со всех сторон обступили боскеты, где скрываются развалины храма.

Другие статуи, влюбленные и холодные, целуются на опушках рощ или мечтают, обхватив колено руками. По красиво очерченным скалам струится и пенится каскад. Дерево, усеченное наподобие колонны, обвил плющ; на надгробном памятнике высечена надпись. Но каменные столбики, воздвигнутые на газонах, так же точно напоминают Акрополь, как этот изящный маленький парк напоминает девственные леса.

Это искусственный, чудесный уголок, куда горожане ходят любоваться цветами, выращенными в оранжереях, и где они восхищаются зрелищем, которое красавица-природа устраивает в самом сердце Парижа, подобно тому, как в театре с восхищением смотрят пышное представление.

Оливье Бертен уже много лет почти ежедневно приходил в это свое излюбленное местечко и смотрел на парижанок в самом выигрышном для них обрамлении. «Этот парк создан для роскошных туалетов, — говаривал он. — На плохо одетых людей здесь страшно смотреть». И он бродил здесь часами, изучая все растения и всех постоянных посетителей.

Он шел по аллеям рядом с Аннетой, рассеянно глядя на пеструю, текущую жизнь парка.

— Ой, какой ангелочек! — воскликнула Аннета. Она залюбовалась белокурым, кудрявым малышом, который с изумлением и восторгом

смотрел на нее.

Затем она оглядела всех ребят и от удовольствия, которое ей доставляли эти живые куклы в бантиках, стала разговорчивой и общительной.

Она шла мелкими шажками и делилась с Бертенем своими суждениями, своими мыслями о детях, няньках, матерях. Пухлые ребятишки вызывали у нее радостные восклицания, бледные внушали ей жалость.

Он слушал ее, но забавлялся не столько детворой, сколько ею самою, и, не забывая о живописи, шептал:

«Великолепно!» — он думал о том, какую чудесную картину мог бы он написать, изобразив уголок парка и цветник нянек, матерей и детей. И как он раньше не подумал об этом?

— Тебе нравятся эти пострелята? — спросил он.

— Я обожаю их.

Он видел, как она смотрит на них, чувствовал, что ей хочется взять их на руки, целовать, тискать, испытывать физическое нежное желание будущей матери, и дивился тайному инстинкту, скрытому в теле женщины.

Она была, видимо, не прочь поболтать, и он стал расспрашивать Аннету о ее склонностях. С милой наивностью она откровенно рассказала ему о своих надеждах на успех и славу в свете, о желании иметь красивых лошадей, в которых она знала толк не хуже барышника, так как часть ферм в Ронсьере была отведена для коннозаводства; о женихе же она беспокоилась не больше, чем о квартире, которую всегда можно выбрать среди уймы помещений, отдаваемых внаймы.

Они подошли к озеру, где тихо плавали два лебедя и шесть уток, чистенькие и спокойные, точно фарфоровые, и прошли мимо молодой женщины, которая сидела на стуле с раскрытой книгой на коленях; взор ее был устремлен вдаль, а душа погружена в мечты.

Она была неподвижна, словно восковая фигура. Некрасивая, скромная, одетая просто, как девушка, которая даже не мечтает нравиться, — возможно, это была какая-нибудь учительница, — она унеслась в Царство грез, захваченная какой-то фразой или каким-то словом, зачаровавшим ее сердце. Приключение, начавшееся в книге, она, конечно, продолжала в том направлении, куда ее увлекали собственные надежды.

Бертен в изумлении остановился.

— Как хорошо, когда можно вот так забыть обо всем на свете! — сказал он.

Они повернули назад и снова прошли мимо нее, но она не замечала

их, — все ее внимание было поглощено далеко улетевшими мыслями.

— Скажи, детка, тебе не будет скучно разок-другой прийти ко мне попозировать? — спросил Аннету художник.

— Что вы, наоборот!

— Тогда посмотри хорошенько на ту девушку, которая блуждает там, где царит ее идеал.

— На ту, что сидит на стуле?

— Да, да. Так вот: ты тоже сядешь на стул, положишь на колени раскрытую книгу и постарайся изобразить эту девушку. Ты когда-нибудь грезил наяву?

— О да!

— О чем?

И тут он попытался выудить у нее признание о странствиях в краю вымысла, но она ни за что не хотела отвечать, уклонялась от его расспросов, смотрела на уток, плывших за хлебом, который бросала им какая-то дама, и, казалось, стеснялась, словно он затронул ее чувствительную струнку.

Затем, желая перейти на другую тему, она принялась рассказывать ему про свою жизнь в Ронсьере, заговорила о бабушке, которой она каждый день подолгу читала вслух и которая теперь, наверно, очень одинока и очень грустит.

Слушая ее, художник чувствовал, что он весел, как птица, — таким веселым он не бывал никогда. Все, что говорила ему Аннета, все эти мелкие, незначительные, бесцветные подробности несложной жизни девочки занимали и забавляли его.

— Присядем, — сказал он.

Они сели у самой воды. Оба лебедя подплыли к ним, ожидая корма.

Бертен чувствовал, что в нем пробуждаются воспоминания, те промелькнувшие, потонувшие в забвении воспоминания, которые неожиданно возвращаются неизвестно почему. Самые разнообразные воспоминания возникали одновременно с молниеносной быстротой, и их было так много, что у него появилось ощущение, будто чья-то рука всколыхнула тину, покрывавшую его память.

Он старался понять, почему вдруг начинает бить ключом его былая жизнь, — он замечал и ощущал в себе это уже не однажды, хотя это и не было столь сильно, как сегодня. Поводы для таких внезапных воспоминаний возникали постоянно, поводы материальные и простые: чаще всего это был какой-то запах, какое-то благоухание. Сколько раз женское платье мимоходом навело на него вместе с легкой струйкой

духов ярчайшее воспоминание о событиях, давно изгладившихся из памяти! И на дне старых туалетных флаконов он тоже часто находил частички своей прежней жизни, и все блуждающие запахи — запахи улиц, полей, домов, мебели, запахи приятные и дурные, теплые запахи летних вечеров, морозные запахи вечеров зимних — непременно воскрешали в нем какие-то далекие отзвуки минувшего, словно эти ароматы, подобно благовониям, сохраняющим мумии, несли в себе умершие воспоминания забальзамированными.

Быть может, сейчас воскресили прошедшее цветущие каштаны или мокрая трава? Нет. Но тогда что же это? Быть может, перед его глазами мелькнуло нечто такое, что могло вызвать у него тревогу? Что он увидел? Ничего. Быть может, среди тех, кого он сейчас встретил, нашелся кто-то, чьи черты напомнили ему черты человека, ушедшего в прошлое, и, хотя Бертен и не узнал его, заставил зазвучать в его сердце все колокола былого?

Или то был какой-то звук? Ведь очень часто, случайно услышав фортепьяно, незнакомый голос, даже шарманку, наигрывающую на площади старомодный мотив, он вдруг молодец на двадцать лет, и грудь его наполнялась позабытой нежностью.

Этот призыв, неумолчный, неуловимый, почти раздражающий, продолжал звучать в нем. Что же такое вокруг него, рядом с ним могло оживить его чувства?

— Становится довольно прохладно, — сказал он, — давай походим.

Они встали и пошли дальше.

Он рассматривал сидевших на скамейках бедняков, которым стулья были не по карману.

Аннета теперь тоже разглядывала их, участливо расспрашивала Оливье об их жизни, о том, чем они занимаются, и удивлялась, что, несмотря на свой жалкий вид, они приходят бездельничать в этот прекрасный общественный парк.

И все глубже и глубже погружался Оливье в протекшие годы. Ему казалось, что над ухом у него жужжит насекомое и наполняет его слух смутным гулом минувших дней.

Видя, что он задумался, девушка спросила:

— Что с вами? Вам как будто взгрустнулось? Дрожь пробрала его до самого сердца. Кто произнес это? Она или ее мать? Нет, это не теперешний голос матери, это ее прежний голос, но так сильно изменившийся, что он узнал его только сейчас.

— Нисколько, мне с тобой очень весело: ты так мила и к тому же напоминаешь мне твою маму, — с улыбкой ответил он.

Как не заметил он до сих пор этот странный отголосок некогда столь знакомой ему речи, которую теперь он слышал из других уст?

— Поговори еще, — попросил он.

— О чем?

— Расскажи, чему учили тебя твои учительницы. Ты их любила?

Она снова принялась болтать.

А он, охваченный все возрастающим волнением, слушал, подстерегал, ловил среди фраз этой девочки, почти чуждой его сердцу, какое-нибудь слово, звук, смешок, которые, казалось, сохранились у нее такими же, какими они были в молодости у ее матери. Порою иные ее интонации заставляли его вздрагивать от изумления. Конечно, в их речи было такое различие, что он не сразу почувствовал сходство и часто даже совсем не улавливал его, но именно эта разница делала еще более явственными внезапно появлявшиеся интонации матери. До сих пор он дружеским, пытливым оком подмечал только схожесть их лиц, но теперь тайна этого воскресшего голоса так сливала их воедино, что он, отворачиваясь, чтобы не видеть больше лицо девушки, временами спрашивал себя: уж не графиня ли это говорит с ним, как говорила двенадцать лет тому назад?

И когда, зачарованный этим возвращением былого, он опять смотрел на нее, то, встречаясь с ней глазами, он испытывал нечто похожее на внезапную слабость, какую вызывал у него взгляд ее матери в первую пору их любви.

Они уже трижды обошли парк, каждый раз проходя мимо тех же людей, тех же детей, тех же нянек.

Теперь Аннета рассматривала особняки, которые окружают парк, и справлялась об именах их владельцев.

Ей хотелось все знать обо всех этих особах, и она расспрашивала Оливье с жадным любопытством, как бы наполняя сведениями свою женскую память, она слушала не только ушами, но и глазами, и лицо ее светилось живым интересом.

Но, когда они подошли к павильону, разделяющему два выхода на внешний бульвар, Бертен заметил, что скоро пробьет четыре часа.

— Ого! — сказал он. — Пора домой.

И они не спеша дошли до бульвара Мальзерб.

Расставшись с девушкой, художник спустился к площади Согласия: он должен был нанести визит на другом берегу Сены.

Он напевал, ему хотелось бегать, он готов был прыгать через скамейки — до того бодрым он себя чувствовал. Париж казался ему каким-то праздничным и красивее, чем когда бы то ни было. «Право, весна все

покрывает новым лаком», — подумалось ему.

Он переживал те мгновения, когда возбужденный ум все вбирает в себя с большим наслаждением, чем обычно, когда глаз видит зорче и кажется более восприимчивым и более ясным, когда острее испытываешь радость от того, что видишь и ощущаешь, как будто некая всемогущая рука внезапно освежила все краски земли, одушевила движения всех существ и снова подвинтила механизм наших ощущений, подобно тому, как подводят отстающие часы.

Ловя взглядом множество занятных картинок, он думал: «Кто бы мог поверить, что бывает время, когда я не нахожу сюжетов!» Взор его стал таким свободным, таким прозорливым, что все его творчество показалось ему банальным, и он попытался представить себе, как бы он начал работать в новой манере, более правдивой и менее обычной. И желание вернуться домой и взяться за дело внезапно охватило его и заставило повернуть назад и запереться у себя в мастерской.

Но как только он очутился перед начатым полотном, жар, который еще минуту назад воспламенял в нем кровь, внезапно погас. Он почувствовал, что устал, сел на диван и снова погрузился в мечты.

Блаженное спокойствие, в котором он жил, беззаботность благополучного человека, все потребности которого удовлетворены, потихоньку уходили из его сердца, словно он что-то утратил. Он ощутил одиночество в своем доме, пустоту в своей мастерской. Он огляделся вокруг, и ему показалось, будто он видит тень женщины, присутствие которой было ему так приятно. Он давно уже забыл нетерпение влюбленного, ожидающего прихода своей любовницы, и вот неожиданно почувствовал, что она далеко, и с юношеской горячностью пожелал, чтобы она оказалась рядом.

Он растроганно думал о том, как они любили друг друга, и во всей этой просторной комнате, куда она так часто приходила, видел бесконечные напоминания о ней, о ее движениях, о ее словах, о ее поцелуях. Он вспоминал некоторые дни, некоторые часы, некоторые мгновения и всем существом ощущал ее прежние ласки.

Не в силах долее сидеть на одном месте, он встал и принялся шагать по мастерской, снова думая о том, что, несмотря на эту связь, которой было наполнено его существование, он совершенно одинок, всегда одинок. После долгих часов работы, растерянно оглядываясь вокруг, как человек, который пробудился и возвращается к жизни, он видел и ощущал только стены — лишь к ним он мог прикоснуться, лишь с ними мог заговорить. В доме у него женщины не было; с той, которую он любил, он встречался

украдкой, как вор, и ему приходилось проводить часы досуга в общественных местах, где можно найти или купить какой-нибудь способ убить время. Он привык к клубу, привык к цирку и к ипподрому, в определенные дни привык бывать в Опере, привык бывать везде понемногу, — лишь бы не возвращаться к себе домой, где он, несомненно, оставался бы с радостью, если бы жил вместе с нею.

В былые времена, в часы любовного безумия, он порой жестоко страдал от того, что не может оставить ее у себя; потом, когда пыл его стал угасать, он безропотно принял и то, что они живут порознь, и свою свободу; теперь же он снова жалел об этом, как будто его прежняя любовь к ней воскресла.

И эта вернувшаяся нежность нахлынула на него так внезапно, почти беспричинно — только потому, что сегодня была хорошая погода, а быть может потому, что утром он услышал помолодевший голос этой женщины! Как мало надо, чтобы взволновать сердце мужчины, стареющего мужчины, у которого воспоминания превращаются в сожаления!

Снова, как в былые времена, потребность увидеть ее вернулась к нему, проникла в его душу и тело, как лихорадка, и он стал думать о ней почти так, как думают влюбленные юноши: он мысленно возбуждал ее и возбуждался сам, чтобы сильнее желать ее; потом он решил, несмотря на то, что видел ее утром, зайти к ней на чашку чая вечером.

Часы тянулись для него бесконечно долго, и, когда он выходил из дому, отправляясь на бульвар Мальзерб, его охватил отчаянный страх, что он не застанет ее дома и ему опять придется просидеть весь вечер в полном одиночестве, как просидел он, впрочем, немало вечеров.

На его вопрос: «Графиня дома?» — лакей ответил:

«Да, сударь» — и наполнил его сердце радостью.

— Это опять я! — ликующе произнес он, появляясь на пороге маленькой гостиной, где обе женщины работали под розовыми абажурами металлической лампы английской работы, с двойной горелкой на высокой тонкой ножке.

— Как, это вы? Вот замечательно! — воскликнула графиня.

— Да, я. Я почувствовал себя очень одиноким и пришел.

— Как это мило!

— Вы кого-нибудь ждете?

— Нет... может быть... право, не знаю.

Он уселся и бросил презрительный взгляд на вязанье из грубой серой шерсти; женщины быстро шевелили длинными деревянными спицами.

— Что это такое? — спросил он.

- Одеяла.
- Для бедных?
- Да, конечно.
- Какие безобразные!
- Зато какие теплые!

— Пусть так, но уж очень они безобразны, особенно в комнате в стиле Людовика Пятнадцатого, где все радует глаз. Если не ради ваших бедняков, так ради ваших друзей вы должны были бы заняться более элегантной благотворительностью.

— Господи! Ох уж эти мужчины! — воскликнула графиня, пожимая плечами. — Да ведь сейчас такие одеяла вяжут всюду!

— Я это прекрасно знаю, слишком хорошо знаю. К кому ни зайдешь, у всех непременно увидишь эту ужасную серую тряпку рядом с самыми прелестными туалетами и самой кокетливой мебелью. Нынешней весной милосердие отличается дурным вкусом.

Желая убедиться в его правоте, графиня растянула свое вязанье на обитом шелком, свободном стуле, стоявшем подле нее, и равнодушно согласилась:

— В самом деле, это некрасиво.

И снова принялась за работу. На две головы, склонившиеся под двумя лампами, совсем близко друг от друга, струились потоки розового света, разливавшиеся по их волосам, лицам, платьям, по двигавшимся рукам; мать и дочь смотрели на свою работу с поверхностным, но неослабным вниманием женщин, привыкших к этому рукоделию, за которым следят глазами, но о котором уже не думают.

Во всех четырех углах комнаты на старинных деревянных колонках с позолотой стояли еще четыре лампы из китайского фарфора и лили на драпировки мягкий, ровный свет, затененный кружевными транспарантами, надетыми на стеклянные колпаки.

Бертен облюбовал низенькое-низенькое, крошечное креслице — он едва мог в нем поместиться, но всегда предпочитал его: так он мог разговаривать с графиней, сидя почти у ее ног. Графиня сказала:

— Вы с Нане совершили сегодня далекую прогулку по парку.

— Да. Мы болтали как старые друзья. Я очень люблю вашу дочь. Это ваш вылитый портрет. А когда она произносит некоторые фразы, можно подумать, будто вы забыли свой голос у нее в горле.

— Мой муж очень часто говорил мне то же самое. Он смотрел, как они работают, купаясь в сиянии ламп, и мысль, от которой он так часто страдал, от которой он страдал еще днем, — дума о его пустом, застывшем,

безмолвном особняке, холодном в любую погоду, как бы ни были раскалены камин и калориферы, — опечалила его так, словно он впервые по-настоящему понял, что он один на свете.

О, как хотелось бы ему быть мужем, а не любовником этой женщины! Когда-то он мечтал похитить, отнять ее у графа, завладеть ею безраздельно. Теперь он завидовал этому человеку, завидовал обманутому мужу, который остался с ней навсегда, остался в привычной атмосфере ее дома, остался в ее нежащей близости. Глядя на нее, он чувствовал, что сердце его переполняется вновь нахлынувшими воспоминаниями о былом, и ему хотелось поделиться ими с него. В самом деле, он все еще очень любил ее, даже чуточку больше, чем прежде, а сегодня гораздо больше прежнего — он давно уже не любил ее так горячо, — и потребность рассказать ей об этом обновленном чувстве, которое так обрадовало бы ее, вызывала у него желание, чтобы девочку отослали спать как можно скорее.

Остаться бы с графиней наедине, припасть к ее коленям, склонить на них голову, взять ее за руки, которые выпустили бы одеяло для бедных и деревянные спицы, а клубок шерсти, разматывая нить, укатился бы под кресло; не говоря более ни слова, он смотрел на часы и думал, что, право же, не следует приучать девочек проводить вечера вместе со взрослыми.

Чьи-то шаги нарушили безмолвие соседней гостиной, и лакей, просунув голову в дверь, доложил:

— Господин де Мюзадье!

Оливье Бертен подавил в себе раздражение; когда же он пожимал руку инспектору изящных искусств, ему захотелось взять его за плечи и вышвырнуть вон.

Мюзадье явился с целым коробом новостей: министерство вот-вот должно пасть, ходят слухи о каком-то скандале с маркизом де Рокдианом.

— Об этом я расскажу потом, — прибавил он, глядя на девушку.

Графиня посмотрела на часы и увидела, что скоро пробьет десять.

— Тебе пора спать, дитя мое, — обратилась она к дочери.

Аннета молча сложила вязанье, смотала шерсть, поцеловала мать в обе щеки, протянула руку мужчинам и удалилась так быстро, словно скользнула, даже не всколыхнув воздух.

— Ну, теперь расскажите про скандал, — сказала графиня, как только дочь вышла из комнаты.

Передавали за верное, будто маркиз де Рокдиан, полюбовно разошедшийся с женой, которая выплачивала ему ренту, решил, что этой ренты для него маловато, и придумал верный и своеобразный способ ее удвоить. Маркизу, за которой, по его приказу, следили, застали на месте

преступления, и она была вынуждена выкупить протокол, составленный полицейским комиссаром, увеличив размеры содержания мужа.

Графиня с любопытством смотрела на рассказчика, опустив руки и держа прерванную работу на коленях.

Бертена присутствие Мюзадье выводило из себя, он разозлился и с негодованием человека, который знает об этой клевете, но который ни с кем не желает говорить о ней, стал утверждать, что это подлая ложь, одна из тех гнусных сплетен, которых светские люди никогда не должны ни слушать, ни повторять. Он встал и, стоя у камина, злобствовал и нервничал с видом человека, который готов воспринять этот рассказ как личное оскорбление.

Рокдиан — его друг, и если в иных случаях его можно упрекнуть в легкомыслии, то нельзя обвинять, нельзя даже заподозрить в каком бы то ни было действительно неблагоприятном поступке. Мюзадье, растерянный и смущенный, защищался, извинялся, сдавался.

— Позвольте, — говорил он, — я только что слышал об этом у герцогини де Мортмен.

— И кто же рассказал вам эту басню? Уж верно, женщина! — заметил художник.

— А вот и не угадали! Маркиз де Фарандаль.

— Ну, раз так, то я не удивлен, — поморщившись, сказал Бертен.

Наступило молчание. Графиня снова принялась за работу.

— Я отлично знаю, что это ложь, — более спокойно заговорил Оливье. Он не знал ничего, он впервые слышал эту историю.

Чувствуя, что положение становится опасным, Мюзадье приготовился к отступлению и уже заговорил о том, что ему еще надо зайти к Корбелям, но тут показался граф де Гильруа, возвратившийся с какого-то обеда.

Бертен снова уселся: теперь его привело в отчаяние появление мужа, отделаться от которого было невозможно.

— Вы не знаете, что это за грандиозный скандал, о котором сейчас только и разговору? — спросил граф. Так как ему никто не ответил, он продолжал:

— Кажется, Рокдиан застал свою жену во время предосудительного объяснения и вынудил ее дорого поплатиться за такую неосторожность.

Тут Бертен положил руку на колено Гильруа и с расстроенным видом, с печалью в голосе, в мягких, дружеских словах повторил все, что несколько минут назад он как бы бросил в лицо Мюзадье.

И граф, наполовину убежденный, злясь на себя за то, что так необдуманно повторял сомнительные, а быть может, и ложные слухи, стал оправдываться неосведомленностью и нежеланием обидеть кого бы то ни

было. В самом деле, мало ли распространяют у нас нелепых и злых сплетен!

Неожиданно все согласилось с тем, что свет клеймит, подозревает и клеветает с прискорбным легкомыслием. И в течение пяти минут все четверо, казалось, были убеждены в том, что всякий слух, передаваемый шепотком, есть не что иное, как клевета, что у женщин вообще не бывает именно тех любовников, которых им приписывают, что мужчины вообще не совершают тех подлостей, в которых их обвиняют, и что на вид всегда все кажется значительно неопрятнее, чем оно есть на самом деле.

Бертен перестал сердиться на Мюзадье, как только пришел Гильруа, наговорил ему уйму приятных вещей и, наведя инспектора изящных искусств на его излюбленные темы, открыл шлюз его красноречию. И граф, видимо, был этим доволен, как человек, который всюду приносит с собой умиротворение и дружелюбие.

Неслышно ступая по коврам, появились два лакея — они несли чайный столик; на нем, в ярко блестящем красивом кипятильнике, над голубым пламенем спиртовой лампы, хлопотала вода, от которой шел пар.

Графиня встала, приготовила горячий напиток с той заботливостью и с теми предосторожностями, какие завезли к нам русские, протянула одну чашку Мюзадье, другую — Бертену и принесла тарелки, на которых были сэндвичи с жирным печеночным паштетом и мелкое австрийское и английское печенье.

Граф подошел к передвижному столику, где выстроились сиропы, ликеры и стаканы, сделал себе грог, а потом незаметно скользнул в соседнюю комнату и исчез.

Бертен снова очутился лицом к лицу с Мюзадье, и внезапно его опять охватило желание вытолкать за дверь этого несносного человека, а тот, как нарочно, воодушевился и принялся болтать, сыпать анекдотами, повторять чужие остроты и изобретать свои. Художник то и дело смотрел на стенные часы, большая стрелка которых приближалась к полуночи. Графиня заметила эти взгляды, и, поняв, что он хочет с нею поговорить, она, с ловкостью светской женщины, способной, легко модулируя из тона в тон, менять и тему разговора, и атмосферу в гостиной и, не говоря ни слова, дать понять гостю, следует ему остаться или же уйти, одной своей позой, выражением лица и скучающим взором распространила вокруг себя такой холод, словно распахнула окно.

Мюзадье почувствовал этот порыв сквозного ветра, ледящего его мысли, и, сам не зная почему, ощутил желание встать и уйти.

Бертен из приличия последовал его примеру. Мужчины откланялись и

прошли обе гостиные в сопровождении графини, разговаривавшей с художником. Она задержала его на пороге прихожей, чтобы о чем-то спросить, а Мюзадье тем временем с помощью лакея надевал пальто. Так как графиня де Гильруа разговаривала только с Бертенем, инспектор изящных искусств подождал несколько секунд у двери на лестницу, распахнутую другим слугой, и решил выйти один, чтобы не стоять перед лакеем.

Дверь тихо затворилась за ним, и графиня непринужденно сказала художнику:

— А вы почему так рано уходите? Еще нет и двенадцати. Побудьте немного.

И они вернулись в малую гостиную.

— Боже, как злил меня этот скот! — сказал Оливье, как только они сели.

— Да чем же?

— Он отнимал у меня частицу вас.

— О, совсем маленькую!

— Пусть так, но он мне мешал.

— Вы ревнуете?

— Считать человека лишним еще не значит ревновать.

Он снова опустился в низенькое креслице и, сидя совсем рядом с ней, перебирая пальцами ее платье, рассказал ей о том, какое теплое дуновение коснулось сегодня его сердца.

Она слушала с удивлением, с восторгом и, тихонько положив руку на его белые волосы, нежно гладила их, словно желая поблагодарить его.

— Как бы я хотел жить подле вас! — сказал он. Он все время думал о муже, который, конечно, уже спал в соседней комнате.

— Только брак воистину соединяет две жизни, — прибавил он.

— Бедный друг мой! — прошептала она, преисполненная жалости к нему и к себе самой.

Прижавшись лицом к коленям графини, он смотрел на нее с нежностью, с чуть печальной, чуть скорбной нежностью, уже не столь пылкой, как только что, когда его отделяли от нее дочь, муж и Мюзадье.

— Боже! Да вы совсем седой! — с улыбкой сказала она, слегка поглаживая пальцами голову Оливье. — У вас не осталось ни одного черного волоса.

— Увы! Я знаю, это происходит быстро. Она испугалась, что огорчила его.

— Да ведь вы начали сидеть совсем молодым! Я помню, вы всегда

были с проседью.

— Да, верно.

Желая окончательно уничтожить налет грусти, вызванной ее словами, она наклонилась и, обеими руками приподняв его голову, принялась покрывать его лицо долгими и нежными поцелуями, теми длительными поцелуями, которым, кажется, нет конца.

Потом они посмотрели друг другу в глаза, стремясь увидеть в их глубине отражение своего чувства.

— Я хотел бы провести возле вас целый день, — сказал он.

Невыразимая потребность близости причиняла ему тупую боль.

Только что он думал: стоит уйти людям, находившимся в этой гостиной, и желание, пробудившееся в нем утром, осуществится, но вот теперь, оставшись со своей любовницей наедине, чувствуя лбом тепло ее рук, а щекой — сквозь платье — тепло ее тела, он вновь ощутил в себе ту же тревогу, ту же тоску по любви — любви неведомой и ускользающей.

И сейчас ему казалось, что за стенами этого дома, где-то в лесу — там они останутся совсем одни, и никого подле них не будет — его волнение уляжется, и сердце обретет покой.

— Какой вы еще ребенок! — сказала она. — Мы же видимся почти каждый день!

Он стал умолять ее найти способ поехать позавтракать с ним куда-нибудь за город, как они завтракали когда-то раз пять.

Ее удивлял этот каприз: ведь его так трудно было исполнить теперь, когда вернулась ее дочь!

Конечно, она все равно постарается это устроить, когда муж уедет в Ронсьер, но только после открытия вернисажа, которое состоится в следующую субботу.

— А до тех пор когда я увижу вас? — спросил он.

— Завтра вечером у Корбелей. Потом, если вы свободны, приходите ко мне в четверг в три часа, а еще, по-моему, в пятницу, мы должны вместе обедать у герцогини.

— Да, совершенно верно. Он встал.

— Прощайте!

— Прощайте, друг мой!

Он все еще стоял, не решаясь уйти: он так и не сумел выразить почти ничего из того, что хотел сказать ей, и грудь его, которая по-прежнему была полна невысказанными чувствами, теснили смутные ощущения, не нашедшие себе выхода.

— Прощайте! — повторил он, взяв ее за руки.

— Прощайте, мой друг!

— Я люблю вас.

Она бросила ему одну из тех улыбок, какими женщина в одно мгновение показывает мужчине все, что она отдала ему.

С трепещущим сердцем он повторил в третий раз:

— Прощайте! И ушел.

Глава 4

Можно было подумать, что все парижские экипажи совершали в этот день паломничество ко Дворцу промышленности. С девяти часов утра съезжались они по всем улицам, по всем авеню и мостам к этому рынку изящных искусств, куда Весь-Париж художников пригласил Весь-Светский-Париж на так называемое «покрытие лаком» трех тысяч четырехсот картин.

Огромная очередь теснилась у дверей и, не обращая ни малейшего внимания на скульптуру, устремлялась прямо наверх, в картинную галерею. Поднимаясь по ступеням, посетители уже поднимали глаза на полотна, развешанные на стенах лестницы, где помещают особую категорию живописцев, которых, как правило, вешают в вестибюле: они выставляют либо картины необычных размеров, либо картины, которые почему-либо не посмели отвергнуть.

В квадратном салоне набилась уйма народу, толкавшегося и шумевшего. Художников, пребывавших тут весь день, можно было узнать по их суетливости, звучным голосам и властным жестам. Они за рукава тащили своих приятелей к картинам и указывали на них руками с громкими возгласами и выразительной мимикой знатоков. Обличье у них было самое разнообразное: одни были высокие, длинноволосые, в мягких, серых или черных, невиданной формы шляпах, круглых и широких, словно крыши, с пологими полями, покрывавшими тенью все туловище их обладателей. Другие — низенькие, суетливые, щуплые или же коренастые, в шейных платках, в куртках или в каких-то странных мешковатых костюмах, предназначенных для таких вот мазил.

Был здесь также клан щеголей, хлыщей, клан салонных художников, был клан академиков, корректных, надевавших, согласно их представлению об элегантности и хорошем тоне, огромные или же микроскопические алые орденские розетки; был клан буржуазных живописцев, сопровождаемых семьями, окружавшими отцов в качестве торжественного хора.

Полотна, удостоенные чести быть выставленными в квадратном салоне на четырех гигантских стендах, сразу же останавливали на себе внимание входящих благодаря яркости тонов, сверканию рам, резкости свежих красок, оживленных лаком, ослепительных под падающим сверху, режущим глаз дневным светом.

Напротив дверей висел портрет президента республики; на другой

стене какой-то генерал, безвкусно расшитый золотом, в шляпе со страусовым пером и в красных суконных рейтузах, соседствовал с совершенно голыми нимфами под ивой и с терпящим крушение кораблем, почти исчезнувшим под волною. Епископ былых времен, отлучающий от церкви жестокого короля, улица на Востоке, заваленная трупами умерших от чумы, тень Данте, скитающегося в аду, захватывали и привлекали взор неотразимой силой экспрессии.

В огромном зале можно было видеть также кавалерийскую атаку, стрелков в лесу, коров на пастбище, двух вельмож-дуэлянтов минувшего века, сражающихся на перекрестке, сумасшедшую, сидящую на межевом столбике, священника у постели умирающего, жнецов, реки, закат, лунный свет — словом, образчики всего того, что писали, пишут и будут писать художники до Судного дня.

Оливье, стоявший в центре группы своих знаменитых собратьев, членов Французского института и членов жюри, обменивался с ними мнением. Его угнетала тревога, он волновался за выставленную им картину, успеха которой он не почувствовал, несмотря на горячие поздравления.

Вдруг он поспешил к входной двери. Там показалась герцогиня де Мортмен.

— Графиня еще не приехала? — спросила она.

— Я ее не видел.

— А господина де Мюзадье?

— Тоже.

— Он обещал мне быть в десять на лестничной площадке и показать выставку.

— Разрешите мне заменить его, герцогиня.

— Нет, нет. Вы нужны своим друзьям. Мы все равно скоро увидимся: я ведь рассчитываю, что мы позавтракаем вместе.

Подбежал Мюзадье. Его задержали на несколько минут около скульптур, и он, запыхавшись, приносил извинения.

— Сюда, сюда, герцогиня, — говорил он, — мы начнем справа.

Не успели они исчезнуть в водовороте голов, как появилась графиня де Гильруа, держа за руку дочь, а глазами отыскивая Оливье Бертена.

Он увидел их, подошел, поздоровался.

— Боже, как мы красивы! — сказал он. — Право, Нанета очень похорошела. Она изменилась за одну неделю.

Он смотрел на нее своим наблюдательным взглядом.

— Линии стали нежнее, мягче, цвет лица ярче, — прибавил он. — Она

уже гораздо меньше похожа на девочку и гораздо больше на парижанку.

И тут же, без перехода, обратился к злобе дня.

— Начнем справа — тогда мы догоним герцогиню. Графиня, прекрасно осведомленная обо всем, что творилось в области живописи, и взволнованная так, словно выставляла свою собственную картину, спросила:

— Что говорят?

— Отличная выставка. Замечательный Бонна, два превосходных Каролуса Дюрана, восхитительный Пюви де Шаванн, поразительный, совсем для себя неожиданный Ролль, чудесный Жервекс и уйма других: Бери, Казен, Дюез — словом, масса прекрасных вещей.

— А вы? — спросила она.

— Мне говорят комплименты, но я недоволен.

— Вы никогда не бываете довольны.

— Нет, иной раз случается. Но сегодня я уверен, что прав.

— Почему?

— Понятия не имею.

— Посмотрим.

Когда они подошли к его картине — две крестьянские девочки, купающиеся в ручье, — перед нею стояла восхищенная группа людей.

— Но это изумительно, это просто прелесть, — почти шепотом заметила обрадованная графиня. — Это лучшее из того, что вы написали.

Он прижался к ней, полный любви, полный признательности за каждое слово, которое умеряло его страдания, проливалось бальзам на рану. И в уме его быстро замелькали мысли, убеждавшие его в том, что она права, что она, несомненно, видит все, как оно есть, своими умными глазами парижанки. Стремясь смирить свою тревогу, он забывал, что вот уже двенадцать лет упрекает ее именно в том, что она неумеренно восторгается претенциозными изделиями, изящными безделушками, показной чувствительностью, случайными прихотями моды и никогда не любит искусство, чистым искусством, свободным от всевозможных идей, тенденций и светских предрассудков.

— Пойдемте дальше, — сказал он, увлекая их за собой.

И еще очень долго водил он их по залам, показывая им полотна, объясняя сюжеты, чувствуя себя счастливым с ними и благодаря им.

— Который час? — неожиданно спросила графиня.

— Половина первого.

— О! Скорее идемте завтракать. Герцогиня, должно быть, уже ждет нас у Ледуайена — она поручила мне привезти вас к нему, если мы не

найдем ее на выставке.

Ресторан, приютившийся посреди островка деревьев и кустов, напоминал переполненный и гудящий улей. Слитный гул голосов, окликов, звяканье стаканов и тарелок стояли в воздухе: они доносились из всех окон, из всех дверей, распахнутых настежь. Столики, за которыми сидели в ожидании еды посетители, почти сплошными длинными рядами тянулись по параллельным дорожкам, вправо и влево от узкого прохода, по которому сновали ошалелые, потерявшие голову гарсоны, державшие на отлете блюда с мясом, рыбой или фруктами.

Под круглой галереей теснилось такое множество мужчин и женщин, что можно было подумать, будто это всходит какая-то живая опара. И все это смеялось, перекликалось, пило и ело, оживлялось от вина и затоплялось той радостью, какая в иные дни вместе с солнцем опускается на Париж.

Один из гарсонов проводил графиню, Аннету и Бертена в забронированный отдельный кабинет, где их ждала герцогиня.

Войдя в кабинет, художник увидел маркиза де Фарандаля, сидевшего рядом с теткой; улыбаясь, он поспешно протянул руки и взял у графини и ее дочери зонтики и пальто. Бертен был так этим раздосадован, что ему захотелось наговорить грубостей и колкостей.

Герцогиня объясняла появление здесь племянника и отсутствие Мюзадзе, которого увел с собою министр изящных искусств, а Бертен при мысли о том, что этот красавчик маркиз должен стать мужем Аннеты, что он приехал сюда ради нее, что он уже смотрит на нее как на женщину, предназначенную для его ложа, разволновался и вознегодовал так, словно попирались его права, его таинственные и священные права.

Как только все уселись за стол, маркиз, которого посадили рядом с Аннетой, стал проявлять особую предупредительность — предупредительность мужчины, получившего разрешение ухаживать за девушкой.

Он бросал на нее любопытные взгляды, которые казались художнику дерзкими и откровенными, он улыбался самодовольно и почти нежно, вел себя с ней любезно, но фамильярно, как жених. В его манере обхождения, в его словах уже проявлялось нечто решенное, он словно оповещал о том, что в недалеком будущем вступит во владение своей собственностью.

Герцогиня и графиня, казалось, покровительствовали ему, одобряли его поведение — поведение официального поклонника — и обменивались друг с другом заговорщическими взглядами.

Покончив с завтраком, все тотчас вернулись на выставку. В залах была такая толкотня, что, казалось, проникнуть туда невозможно. От жары, от

многолюдства, от мерзкого запаха заношенных платьев и фраков воздух становился спертым, тошнотворным. Смотрели уже не на картины, а на лица и на туалеты, отыскивали знакомых; порою в этой плотной людской массе начиналась давка: на мгновение расступались, чтобы пропустить высокую стремянку лакировщиков, кричавших:

— Посторонитесь, дамы и господа, посторонитесь! Не прошло и пяти минут, как графиня и Оливье оказались отрезанными от остальных. Он хотел было отыскать их, но графиня, опершись на его руку, сказала:

— Нам и без них хорошо, не так ли? Ну и бог с ними, мы же все равно условились в четыре часа встретиться в буфете, если потеряем друг друга.

— Совершенно справедливо, — отвечал он. Но он был поглощен мыслью о том, что маркиз сопровождает Аннету и продолжает ухаживать за ней со своей фатовской галантностью.

— Так вы любите меня по-прежнему? — тихо спросила графиня.

— Ну да, конечно, — отвечал он с озабоченным видом.

А сам старался разглядеть поверх голов серую шляпу Фарандаля.

Чувствуя, что он рассеян, и желая вновь привлечь к себе его мысль, она прибавила:

— Если бы вы знали, в каком я восторге от вашей последней картины! Это настоящий шедевр!

Он улыбнулся, мгновенно позабыв о молодых людях и помня лишь о том, что тревожило его нынче утром.

— В самом деле? Вы находите?

— Да, мне она нравится больше всех.

— Она дорого мне стоила.

Она снова и снова кружила ему голову ласковыми словами; она давно и хорошо знала: ничто не имеет такой власти над художником, как нежная и постоянная лесть. Плененный, воодушевленный, обрадованный сладкими речами, он опять разговорился, не видя и не слыша никого, кроме нее, в этом огромном, бурном водовороте.

Ему хотелось отблагодарить ее, и он шепнул ей на ухо:

— Мне безумно хочется вас поцеловать. Горячая волна затопила ее, и, подняв на него свои блестящие глаза, она повторила свой вопрос:

— Так вы любите меня по-прежнему?

А он ответил с той интонацией, которую она хотела услышать, но не слышала, когда спросила его в первый раз:

— Да, я люблю вас, дорогая Ани!

— Приходите почаще ко мне по вечерам. Теперь, когда приехала дочь, я буду выезжать не так уж часто.

С тех пор, как она почувствовала это неожиданное пробуждение его нежности, ее переполняло огромное счастье. Теперь, когда волосы Оливье стали совсем белыми и с годами он угомонился, она уже не так страшилась, что его покорит другая женщина, но зато безумно боялась, что он женится от ужаса перед одиночеством. Это опасение, уже давнее опасение, все возрастало, и у нее возникали фантастические планы как можно дольше не отпускать его от себя, не давая ему проводить долгие вечера в холодном безмолвии его пустого особняка. Она не всегда могла привлекать его и удерживать и потому подсказывала ему развлечения, посылала его в театр, заставляла бывать в свете, предпочитала даже знать, что он находится в обществе женщин, — лишь бы не в своем печальном доме.

Отвечая на свою тайную мысль, она продолжала:

— Ах, если бы я могла оставить вас у себя навсегда, как бы я вас баловала! Обещайте, что будете приходить ко мне как можно чаще — ведь я теперь почти совсем не буду выезжать!

— Обещаю.

— Мама! — прошептали у нее над ухом. Графиня вздрогнула и обернулась. К ним подошли Аннета, герцогиня и маркиз.

— Уже четыре часа, — сказала герцогиня. — Я очень устала и хочу уйти.

— Я тоже ухожу, не могу больше, — отвечала графиня.

Они протиснулись к внутренней лестнице, идущей от тех залов, в которых были развешаны рисунки и акварели, и спускающейся в огромный зимний сад, где была выставлена скульптура.

С площадки этой лестницы от края до края видна была гигантская оранжерея, сплошь уставленная статуями, возвышавшимися вдоль дорожек, вокруг густых зеленых кустарников, над толпой, заливавшей аллеи бурным черным потоком. Разрывая темный ковер плеч и шляп, сверкали мраморные статуи; они, казалось, сияли — такие они были белые.

Когда Бертен откланивался дамам у входной двери, графиня де Гильеуа шепотом спросила его:

— Так вы придете сегодня вечером?

— Да, да!

И он вернулся на выставку, чтобы поделиться с Другими художниками впечатлениями сегодняшнего дня.

Живописцы и скульпторы группами стояли возле статуй, у буфета и, как это бывает каждый год, спорили, отстаивая или опровергая одни и те же идеи, приводя одни и те же доводы, обсуждая почти неотличимые друг от друга произведения. Оливье, который обычно оживлялся на этих

диспутах, — он обладал особым даром и давать отпор и приводить противника в замешательство неожиданной атакой и пользовался репутацией остроумного теоретика, коей весьма гордился, — вступил в полемику, надеясь, что он увлечется ею, но то, что он, по привычке, говорил, так же мало интересовало его, как и то, что он слышал в ответ, и ему хотелось уйти, ничего не слышать, ничего не воспринимать: ведь он заранее знал все, что может быть сказано об извечных проблемах искусства, которые он знал назубок.

Он все-таки любил эти темы, без памяти любил их до сих пор, но сегодня его отвлекала от них одна из тех мелких, докучных забот, одна из тех ничтожных тревог, которые, казалось бы, совсем не должны затрагивать нас, но которые, несмотря ни на что, остаются при нас и, что бы мы ни говорили и что бы ни делали, впиваются в нашу мысль подобно невидимой занозе, вонзившейся в тело.

Он даже забыл, что беспокоился за своих купальщиц, и помнил лишь о неприятном для него обращении маркиза с Аннетой. Но, в конце-то концов, что ему за дело до всего этого? Какое он имеет право быть недовольным? Отчего ему хотелось бы помешать этому заранее решенному, приличному во всех отношениях и выгодному браку? Но никакие доводы разума не могли вытеснить чувство досады и недовольства, которое овладело им, когда он увидел, что Фарандаль разговаривает и улыбается уже как жених, лаская взглядом лицо девушки. Когда вечером он пришел к графине и опять застал ее наедине с дочерью, — при свете ламп они продолжали вязать одеяла для бедных, — ему стоило большого труда сдержаться и не сделать насмешливых и злых замечаний по адресу маркиза, не раскрыть Аннете глаза на всю его пошлость, прикрытую внешним шиком.

Уже давно вошло у него в привычку во время этих послеобеденных визитов хранить сонное молчание, сидя в небрежной позе, как старый друг, который чувствует себя в доме свободно. Усевшись поглубже в кресло, скрестив ноги, откинув голову, он мечтал и отдыхал душою и телом в этой интимной, спокойной атмосфере. Но внезапно к нему вернулся тот прилив сил, то оживление мужчины, который в присутствии иных женщин из кожи вон лезет, чтобы понравиться, который обдумывает свои слова и выискивает самые блестящие или же самые изысканные выражения, чтобы облечь свою мысль в красивую форму и сделать ее пикантной. Он уже не хотел, чтобы разговор тянулся кое-как, он поддерживал его, воодушевлял, прищипоривал своей горячностью и, когда ему удавалось вызвать у графини и ее дочери искренний смех, когда он видел, что они взволнованы, когда они поднимали на него удивленные глаза и прерывали свое занятие, чтобы

оно не отвлекало их от его рассказа, он испытывал какое-то приятное ощущение, легкую дрожь успеха, вознаграждавшую его за то, что он так старался.

Теперь он начал появляться всякий раз, как ему становилось известно, что они будут одни, и, быть может, никогда еще не проводил он таких чудесных вечеров.

Благодаря этим постоянным визитам, вечные опасения графини де Гильруа рассеялись, и она делала все от себя зависящее, чтобы привлечь его и удержать. Она отказывалась от званых обедов, балов, спектаклей, чтобы доставить себе радость и, выйдя из дому в три часа, опустить в ящик для пневматической почты маленькую голубую депешу, гласившую: «До скорой встречи». Первое время, стремясь как можно скорее исполнить его желание и остаться с ним наедине, она отсылала дочь спать, как только начинало бить десять часов. Но, заметив однажды, что он удивился и, смеясь, попросил не обращаться больше с Аннетой как с неразумным младенцем, она дала ей лишнюю четверть часа, потом полчаса, потом час. После ухода девушки он оставался недолго, словно вместе с нею исчезала половина очарования, которое удерживало его в гостинной. Тотчас же придвинув к ногам графини свое любимое низенькое креслице, он подсаживался к ней поближе и время от времени нежно прижимался щекою к ее коленям. Она протягивала ему руку, которую он брал в свои, и его душевное напряжение внезапно спадало, он умолкал и в этой ласковой тишине, казалось, отдыхал от усилий, которые ему приходилось делать.

В конце концов женское чутье подсказало ей, что Аннета привлекает его почти так же, как она. Она нисколько не рассердилась, она была счастлива, что у них с дочерью он находит какую-то замену семьи, которой был лишен по ее вине, и старалась как можно крепче держать его в плену у себя и у дочери, играя роль мамы, чтобы он почувствовал себя почти отцом этой девочки и чтобы ко всему, что привязывало его к этому дому, прибавился новый оттенок нежности.

Ее кокетство, всегда бывшее на страже, но ставшее беспокойным с тех пор, как она почувствовала со всех сторон — пока еще в виде почти нечувствительных уколов — бесчисленные атаки приближающейся старости, приняло более наступательный характер. Чтобы сделаться такой же стройной, как Аннета, она по-прежнему ничего не пила и действительно так похудела, что талия у нее была теперь такой же, как во времена ее юности, так что со спины ее трудно было отличить от дочери, но этот режим оставил след на ее исхудавшем лице. Растянутая кожа морщилась и принимала желтоватый оттенок, от которого еще заметнее становилась

великолепная свежесть девочки. Тогда она стала ухаживать за своим лицом, пользуясь теми средствами, к каким прибегают актрисы, и если днем белизна ее кожи казалась несколько подозрительной, то при вечернем освещении она приобретала ту прелестную искусственную яркость, которая сообщает умело накрашенным женщинам несравненный цвет лица.

Вид этого разрушения и необходимость прибегать к такого рода хитростям заставили графиню изменить свои привычки. Она начала по возможности избегать сравнений с дочерью при ярком солнце и старалась устроить так, чтобы их сравнивали при свете ламп, который давал ей преимущества. Когда она чувствовала, что устала, бледна, что выглядит старше, чем обычно, на помощь приходили услужливые мигрени, позволявшие ей пропускать балы и спектакли, но в те дни, когда она чувствовала, что выглядит хорошо, она торжествовала и играла роль старшей сестры с горделивой скромностью молодой матери. Чтобы всегда носить почти такие же платья, какие носила дочь, она делала ей туалеты молодой женщины, слишком строгие для девушки, но Аннета, чей веселый и насмешливый нрав все заметнее давал себя знать, носила их с лучезарной жизнерадостностью, которая делала ее еще обаятельнее. Она от всей души помогала кокетливым уловкам матери, бессознательно разыгрывала с нею грациозные сценки, она знала, когда надо поцеловать ее, нежно обнять за талию и одним движением, лаской, хитроумной выдумкой показать, как они обе красивы и как похожи друг на друга.

Оливье Бертену, который постоянно видел вместе и сравнивал мать и дочь, иногда случалось даже принимать одну за другую. Порой, когда девушка обращалась к нему, а он в это время смотрел не на нее, ему приходилось спрашивать себя: «Кто из них это сказал?» А частенько бывало и так, что, когда они втроем сидели в малой гостиной, завешанной драпировками в стиле Людовика XV, он забавлялся этой игрой в путаницу. Он закрывал глаза и просил, чтобы сперва мать, потом дочь, затем наоборот — сперва дочь, потом мать — задали ему один и тот же вопрос, а он попытается узнать их по голосу. И они ухитрялись так искусно находить одни и те же интонации и одинаково произносить одни и те же фразы, что он отгадывал не всегда. И в конце концов они стали говорить так похоже друг на друга, что слуги отвечали дочери: «Да, барыня», а матери:

«Да, барышня».

Постоянно подражая, потехи ради, одна другой и копируя движения друг друга, они приобрели такое сходство в манерах и жестах, что сам граф де Гильруа не раз ошибался, когда одна из них проходила в глубине темной гостиной, и спрашивал:

— Это ты, Аннета? Или это твоя мама? Это действительное и выработанное, природное и искусственно созданное сходство породило в уме и в сердце художника странное впечатление, что перед ним двуединое существо, прежнее и новое, хорошо знакомое и почти неведомое, что это два тела, созданных из одной и той же плоти, что это одна и та же женщина, продолжающая самое себя, помолодевшая и снова ставшая такою же, какою была прежде. И он жил подле матери и дочери, разрываясь между ними, жил в смятении и тревоге, пылая вновь пробудившейся любовью к матери и окутывая дочь нежностью, непонятной ему самому.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

«20 июля, Париж, 11 часов вечера, Друг мой! В Ронсьере умерла моя мать. Ночью мы отбываем туда. Не приезжайте к нам: мы не извещаем никого. Но пожалейте меня и подумайте обо мне.

Ваша Ани».

«21 июля. Полдень.

Мой бедный друг! Я все-таки приехал бы к Вам, если бы Ваши желания не стали для меня законом. Со вчерашнего дня думаю о Вас с щемящей тоской. Я представляю себе Ваше безмолвное ночное путешествие вместе с дочерью и мужем в полутемном вагоне, который медленно везет Вас к покойнице. Я вижу Вас всех троих под масляной лампой, вижу, как плачете Вы и как рыдает Аннета. Я вижу Ваше прибытие на станцию, ужасное путешествие в карете и въезд в усадьбу, вижу встречающих Вас слуг, вижу, как Вы летите вверх по лестнице к той комнате, к той постели, где лежит она, вижу Ваш первый взгляд, устремленный на нее, вижу, как Вы целуете ее исхудалое, неподвижное лицо. И я думаю о Вашем сердце, о Вашем бедном сердце, об этом бедном сердце, половина которого принадлежит мне и которое разрывается на части и так болит, так страшно бьется у Вас в груди, что и мне в эту минуту становится больно.

С глубоким состраданием целую Ваши полные слез глаза.

Оливье.».

«24 июля. Ронсьер.

Ваше письмо утешило бы меня, мой друг, если б что-нибудь могло меня утешить в этом ужасном горе, которое на меня обрушилось. Вчера мы похоронили ее, и с тех пор, как ее бедное, бездыханное тело покинуло этот дом, мне все кажется, что я одна на свете. Человек любит свою мать, почти не сознавая и не чувствуя этого, потому что это для него так же естественно, как дышать, и лишь в минуту последнего расставания он понимает, как глубоко уходят корни этой любви. Никакая другая привязанность несравнима с этой, потому что все остальные

привязанности — дело случая, а эта — врожденная, все остальные возникают у нас позднее, случайно, а эта живет у нас в крови со дня нашего появления на свет. И потом, потом вместе с матерью уходит половина нашего детства — ведь наша жизнь, жизнь маленького ребенка, принадлежит ей столько же, сколько и нам. Она одна знает ее так же, как знаем мы сами, она помнит множество далеких, дорогих для нас мелочей, которые были и остаются первыми радостными волнениями нашего сердца. Ей одной я могла сказать:

„Мама! Ты помнишь тот день, когда?.. Мама! Ты помнишь фарфоровую куклу, которую подарила мне бабушка?“ С ней вдвоем мы перебирали длинные, милые сердцу четки никому, кроме нас, не интересных, расплывчатых воспоминаний — теперь обо всем этом в целом мире помню я одна. Значит, это умерла часть меня самой, прежняя, лучшая часть. Я лишилась того бедного сердца, в котором еще жила целиком та маленькая девочка, какою я когда-то была. Сейчас уже никто не знает, никто не помнит маленькую Ани, ее короткие юбочки, ее смех, ее облик.

И настанет день, — быть может, он уже не так далек, — когда и я уйду, оставив мою дорогую Аннету одну на свете, как оставила меня моя мама. Как все это грустно, как тяжело и как жестоко! Только мы никогда об этом не думаем, мы не замечаем, что у нас на глазах смерть каждую минуту кого-то уносит, как унесет вскоре и нас. Если бы мы это замечали, если бы думали об этом, если бы нас не развлекало, не забавляло, не ослепляло то, что ежедневно проходит перед нами, мы не могли бы жить, ибо зрелище этой бесконечной гекатомбы свело бы нас с ума.

Я так разбита, я в таком отчаянии, что у меня уже нет сил чем-нибудь заниматься. Днем и ночью я думаю о бедной маме, лежащей в заколоченном ящике, зарытой в землю, в поле, под дождем; ее старенькое лицо, которое я целовала с такой любовью, теперь уже страшная, гниющая масса. О, какой это ужас!

Когда я потеряла папу, я только что вышла замуж и не так остро все это воспринимала, как сейчас. Да, пожалуйста меня, подумайте обо мне, пишите, — Вы так нужны мне теперь!

Анна».

«Париж, 25 июля.

Мой бедный друг!

Ваше горе причиняет мне страшную боль. Жизнь и мне представляется теперь не в розовом свете. После Вашего отъезда я остался одиноким, покинутым, у меня нет ни привязанностей, ни прибежища. Все меня утомляет, раздражает, все мне надоело. Я постоянно думаю о Вас и о нашей Аннете и чувствую, как далеко от меня вы обе, а мне так необходимо, чтобы вы были около меня!

Я удивительно сильно чувствую, как Вы от меня далеко и как мне Вас недостает. Никогда, даже в дни моей молодости, Вы не были для меня всем на свете, а теперь Вы для меня все. Я давно предчувствовал этот приступ, что-то вроде солнечного удара моим бабьим летом. Я испытываю сейчас нечто до того странное, что мне хочется рассказать Вам об этом. Представьте себе, что после Вашего отъезда я не могу больше гулять. Прежде, даже и в последние месяцы, я очень любил бродить по улицам в полном одиночестве: меня развлекали люди и предметы, я наслаждался радостью глазеть по сторонам, с удовольствием, весело шагая по мостовой. Я шел, сам не зная куда, шел без определенного маршрута — лишь бы идти, дышать, мечтать. Теперь больше не могу. Как только я выхожу на улицу, меня гнетет тоска, страх слепого, потерявшего свою собаку. Я начинаю волноваться точь-в-точь как путник, сбившийся с лесной тропинки, и мне приходится возвращаться домой. Париж кажется мне пустынным, страшным, тревожным. Я спрашиваю себя: „Куда бы пойти?“ И отвечаю себе: „Да никуда, ведь это же прогулка“. И вот я не могу, не могу больше гулять без цели. При одной мысли о том, чтобы идти куда глаза глядят, я изнемогаю от усталости и мне становится невыносимо скучно. И тогда я тащусь со своей меланхолией в клуб.

А знаете ли, отчего это? Только оттого, что здесь больше нет Вас. В этом я уверен. Когда я знаю, что Вы в Париже, мои прогулки уже не бесцельны: ведь на каждом перекрестке я могу встретить Вас. Я могу идти куда угодно, потому что где угодно можете появиться Вы. А если я не найду Вас, я могу увидеть хотя бы Аннету, а Аннета — это часть Вас. Вы обе наполняете для меня улицы надеждой — надеждой еще издали узнать Вас, когда вы идете мне навстречу, или же когда я, догадываясь, что это Вы,

устремляюсь вслед за Вами. И тогда город становится для меня очаровательным, женщины, фигурой напоминающие Вас, волнуют мое сердце, заставляют меня наблюдать за жизнью улиц, поддерживают во мне напряжение ожидания, дают пищу моему взору и возбуждают непреодолимое желание увидеть Вас.

Вы сочтете меня большим эгоистом, бедный мой друг, — ведь я расписываю Вам свое одиночество, как старый, воркующий голубь, в то время как вы плачете такими горькими слезами. Простите меня — я так привык к тому, что Вы балуете меня, что, оставшись без Вас, кричу: „Помогите!“ Целую Ваши ноги, чтобы Вы меня пожалели.

Оливье».

«Ронсьер, 30 июля.

Друг мой!

Спасибо за письмо. Мне так необходимо знать, что Вы меня любите! Я прожила ужасные дни. Право, я думала, что горе убьет меня и я уйду вслед за мамой. Скорбь была во мне, она придавила мне грудь, точно глыба, она все росла, пригнетала, душила меня. Ко мне пригласили врача, и он, чтобы прекратить нервные припадки, повторявшиеся раз пять в день, впрыскивал мне морфий, от которого я чуть не сошла с ума, а наступившая у нас палящая жара еще ухудшала мое состояние и доводила меня до крайней степени возбуждения, близкого к бреду. В пятницу, после сильной грозы, я стала немного спокойнее. Надо сказать, что со дня похорон я ни разу не плакала, и вот во время бури, приближение которой вызвало у меня нервное потрясение, я внезапно почувствовала, что из глаз моих медленно покатались слезы — скупые, мелкие, жгучие. О, эти первые слезы, как больно они нам делают! Они разрывали меня, словно когтями, а горло сжималось так, что я не могла перевести дыхание. Потом слезы, более крупные и спокойные, полились быстрее. Они ручьем хлынули из глаз, они были такими обильными, такими обильными, что мой платок был насквозь мокрым и пришлось взять другой. И огромная глыба страданий, казалось, размягчалась, таяла и слезами вытекала из моих глаз.

С той минуты я плачу с утра до вечера, и это меня спасает. Если бы люди не могли плакать, они в конце концов и впрямь

сходили бы с ума или умирали.

Я тоже очень одинока. Муж разъезжает по округе, и я настояла на том, чтобы он брал с собой Аннету: надо развлечь ее и хоть как-то успокоить. Они уезжают в экипаже или верхом миль за десять от Ронсьера, и Аннета возвращается ко мне розовая и юная, оживленная деревенским воздухом и поездкой, а глаза ее, несмотря на печаль, озарены блеском жизни. Как прекрасно быть молодым!

Я думаю, что мы задержимся здесь еще недели на две — на три, а потом, хотя это будет лишь конец августа, вернемся в Париж по известной Вам причине. Посылаю Вам все, что осталось у меня от моего сердца.

Ани».

«Париж, 4 августа.

Больше я не выдержу, дорогой мой друг. Вы должны вернуться, а то со мной наверняка случится какое-нибудь несчастье. Я спрашиваю себя: уж не болен ли я? — такое сильное отвращение испытываю я ко всему, что в течение столь долгого времени я делал не без некоторого удовольствия или же с покорным равнодушием. Прежде всего, в Париже стоит такая жара, что по ночам — часов восемь, а то и девять, — чувствуешь себя, как в турецкой бане. Я встаю, изнемогая от усталости после такого сна в парильне, и часа два расхаживаю перед белым холстом, намереваясь что-нибудь написать. Но воображение мертво, мертв глаз, мертва рука. Я уже не художник! И это тщетное усилие начать работу приводит меня в отчаяние. Я зову натурщиц, ставлю их, но они принимают те же самые выражения, те же самые позы, делают те же самые движения, какие я писал до пресыщения, и я велю им одеваться и выставляю за дверь. Право, я уже не способен увидеть нечто новое, и от этого я страдаю так, словно я ослеп. Что это может быть? Усталость глаз, мозга, иссяк ли талант художника, или это нервное переутомление? Кто знает? Но мне кажется, что я больше не могу делать открытия в той неисследованной области, в которую мне дано было проникнуть. Теперь я замечаю лишь то, что известно всем, я делаю то, что делали все плохие художники, зоркость и наблюдательность у меня теперь не острее, чем у любой

бездарности. В былые времена, еще совсем недавно, количество новых тем казалось мне беспредельным, и единственная трудность заключалась для меня в том, чтобы выбрать сюжет: я располагал такими разнообразными способами, что затруднялся в выборе именно из-за их обилия. И вот мир мелькавших передо мною сюжетов внезапно опустел, а все мои поиски беспомощны и бесплодны. Люди, которых я вижу, лишены для меня смысла, я не нахожу больше в человеческом существе той характерности и той сочности, которые некогда так любил открывать и делать видимыми для всех. Со всем тем я думаю, что мог бы написать прекрасный портрет Вашей дочери. Не потому ли, что Вы так разительно схожи друг с другом, Вы сливаетесь в моих мыслях воедино? Да, может быть.

Итак, истратив все силы на попытку изобразить мужчину или женщину, которые не были бы похожи на все известные мне натуры, я решаю позавтракать где-нибудь, ибо мне уже недостает мужества сидеть одному у себя в столовой. Бульвар Мальзерб похож на лесную просеку в мертвом городе. От всех домов веет пустотой. На улицах поливальщики разбрасывают белые султаны воды и обрызгивают торцы, от которых исходит запах мокрой смолы и вымытой конюшни, а на всем долгом пути от парка Монсо до Блаженного Августина тебе попадутся лишь пять-шесть темных фигур каких-нибудь простолюдинов, разносчиков или слуг. Тени платанов лежат у подножия деревьев и на раскаленных тротуарах причудливой формы пятнами, которые кажутся жидкими, как высыхающие лужи. В неподвижности листьев на ветвях, в их серых очертаниях на асфальте воплощается усталость города, который жарится, дремлет и обливается потом, как рабочий, заснувший на скамейке под солнцем. Да, он потеет, этот противный город, и отвратительно воняет устьями своих водосточных труб, отдушинами подвалов и кухонь, канавками, по которым стекает грязь его улиц. И я думаю о летнем утре в Вашем саду, где такое множество полевых цветочков, от которых воздух приобретает медвяный привкус. Затем я с отвращением вхожу в ресторан, где едят плешивые, пузатые люди в полурасстегнутых жилетах; вид у них подавленный, мокрые лбы блестят. Всей снеди здесь тоже жарко — дыне, оплывающей подо льдом, влажному хлебу, дряблему филе, прелой зелени, гниющему сыру, перезревшим в витрине

фруктам. И я с омерзением ухожу и возвращаюсь домой, чтобы попытаться малость вздремнуть до обеда, — обедаю я в клубе.

Там я постоянно встречаю Адельмаяса, Мальдана, Рокдиана, Ланда и многих других; они наводят на меня тоску и надоедают мне, как шарманка. У каждого из них свой мотив или несколько мотивов, которые я слышу вот уже пятнадцать лет, и они все вместе наигрывают их в этом клубе каждый вечер, а ведь клуб, что ни говори, это такое место, куда люди ходят развлекаться. Надо бы мне избрать другое поколение: моим поколением мои уши, глаза и ум сыты до отказа. Эти люди все время одерживают новые победы; они хвастают ими и обмениваются поздравлениями.

Зевнув столько же раз, сколько минут проходит от восьми вечера до полуночи, я возвращаюсь домой, раздеваюсь и ложусь спать с мыслью о том, что завтра придется все это начинать сначала.

Да, дорогой мой друг, я уже в том возрасте, когда холостяцкая жизнь становится невыносима, ибо ничего нового под луной для меня уже нет. Холостяк должен быть молодым, любопытным, жадным. А когда все это в прошлом, оставаться на свободе становится опасным. Боже, как я любил в былые времена свою свободу, пока не полюбил Вас больше, чем ее! Как тяжела она для меня теперь! Свобода для такого старого холостяка, как я, это пустота, абсолютная пустота, это дорога к смерти, на которой нет ничего, что помешало бы увидеть конец, это беспрестанно возникающий вопрос: „Что делать? К кому пойти, чтобы не оставаться одному?“ И я иду от приятеля к приятелю, от рукопожатия к рукопожатию, прося, как милостыни, капельку дружбы, и я собираю крохи этой дружбы, которые не составляют целого. У меня есть Вы, Вы, мой друг, но Вы принадлежите не мне. Быть может. Вы и породили снедающую меня тоску, ибо она есть не что иное, как жажда Вашей близости. Вашего присутствия, одной кровли над нашими головами, одних стен, в которых шли бы наши жизни, одних интересов, заставляющих сильнее биться наши сердца; это не что иное, как потребность, чтобы наши с Вами надежды, горести, радости, веселье, грусть, даже вещи были общими, и вот это-то и удручает меня. Вы моя — то есть время от времени я краду частицу Вас. Но я хотел бы всегда дышать тем же воздухом, каким дышите Вы, делить с

Вами все, пользоваться лишь теми вещами, которые принадлежали бы нам обоим, чувствовать, что все, чем я живу, столько же Ваше, сколько и мое: стакан, из которого я пью, кресло, в котором я отдыхаю, хлеб, который я ем, и очаг, у которого я греюсь.

Прощайте и возвращайтесь как можно скорее. Мне слишком тяжело вдали от Вас.

Оливье».

«Ронсьер, 8 августа.

Друг мои! Я нездорова и так измучена, что Вы не узнали бы меня. Вероятно, я слишком много плакала. До отъезда я должна немного отдохнуть: я не хочу показываться Вам в таком виде. Послезавтра в Париж приедет муж; он расскажет Вам, как мы живем. Он хочет пообедать с Вами где-нибудь и говорит, чтобы я попросила Вас ждать его у себя к семи часам.

А я, как только я почувствую себя чуточку лучше, как только я перестану походить на покойницу, — мое лицо пугает меня самое, — я вернусь к Вам. У меня тоже нет никого на свете, кроме Аннеты и Вас, и я хочу отдать каждому из Вас все, что в моих силах, не обкрадывая ни того, ни другого.

Подставляю Вам для поцелуя мои глаза, которые столько плакали!

Анна».

Когда Оливье Бертен получил это письмо, извещавшее его о том, что возвращение опять откладывается, у него возникло неудержимое желание взять карету, поехать на вокзал, сесть в поезд и поехать в Ронсьер, но затем, вспомнив, что завтра должен вернуться граф де Гильруа, смирился и стал желать и ждать приезда мужа с таким нетерпением, словно речь шла о приезде жены.

Никогда в жизни не любил он Гильруа так, как в эти двадцать четыре часа ожидания.

Когда граф вошел в комнату, Оливье бросился к нему с распростертыми объятиями.

— Ах, дорогой друг, как я счастлив вас видеть! — восклицал он.

Тот, казалось, тоже был очень доволен встречей, а главное, рад, что

вернулся в Париж, — последние три недели в Нормандии он прожил невесело.

Они сели на диванчик в углу мастерской, под балдахином из восточных тканей, и снова тепло пожали друг другу руки.

— А как поживает графиня? — спросил Бертен — Э! Так себе! Она была совершенно потрясена, просто убита; теперь приходит в себя, но медленно. Признаюсь, она меня отчасти даже беспокоит.

— Но почему она не возвращается?

— Понятия не имею! Мне не удалось уговорить ее вернуться в Париж.

— Что же она там делает целый день?

— Господи! Плачет и думает о матери. Это на нее плохо действует. Я старался уговорить ее, чтобы она переменила обстановку, покинула место, где это произошло, понимаете?

— А как Аннета?

— О, Аннета цветет! Оливье радостно улыбнулся.

— Она очень горевала?

— Да, очень, очень, но ведь вы знаете: в восемнадцать лет горе непродолжительно. Помолчав, Гильруа спросил:

— Где бы нам пообедать, дорогой мой? Мне совершенно необходимо встряхнуться, послушать городской шум, увидеть жизнь города.

— По-моему, летом самое подходящее для этого место — Посольское кафе.

И они пошли под руку на Елисейские поля. Гильруа был возбужден; в нем проснулся парижанин, которому после каждой отлучки город кажется помолодевшим и полным всевозможных сюрпризов, и он расспрашивал художника обо всем, что тут происходило и о чем шли разговоры; Оливье отвечал ему равнодушно, и в этом равнодушии сквозила вся тоска его одиночества, а потом заговорил о Ронсьере, стараясь уловить, выжать из Гильруа нечто почти осязаемое, что оставляют в нас люди, с которыми мы недавно расстались, почувствовать ту едва ощутимую эманацию, которую мы уносим с собой, покидая их, сохраняем в себе несколько часов и которая улетучивается в новой атмосфере.

Как всегда, летним вечером над городом и над широкой авеню, где под деревьями уже взлетали бойкие мотивчики концертов, устраивавшихся на вольном воздухе, нависло тяжелое небо. Сидя на балконе Посольского кафе, Гильруа и Бертен смотрели вниз на еще пустые скамьи и стулья за закрытой оградой перед небольшим помостом, на котором певички при свете электрических шаров, сливавшемся с дневным светом, выставляли напоказ свои кричащие туалеты и розовое тело. В легком дуновении,

которое посылали друг другу каштаны, носились запахи жареного, соусов, горячих кушаний, а когда проходила какая-нибудь женщина вместе с мужчиной во фраке, разыскивая заказанный столик, она оставляла за собой пьянящий, свежий запах своего платья и своего тела.

Сияющий Гильруа негромко заметил:

— Я предпочитаю быть здесь, а не там!

— А я, — отвечал Бертен, — предпочел бы оказаться там, а не здесь.

— Да будет вам!

— Честное слово! По-моему, нынешним летом Париж омерзителен.

— Э, дорогой мой! Париж есть Париж. Депутат, по-видимому, был в прекрасном настроении, в том игривом возбуждении, которое появляется у серьезных людей редко и которое заставляет их делать глупости. Он смотрел на двух девиц легкого поведения, обедавших за соседним столиком с тремя худощавыми, в высшей степени корректными молодыми людьми, и исподволь выспрашивал Оливье обо всех известных кокотках высокого полета, имена которых он слышал каждый день.

— Вам повезло, что вы остались холостяком. Вы можете видеть и делать все, что вам угодно, — тихо сказал Гильруа, и в его голосе послышалось глубокое сожаление.

Художник не согласился с ним и, как это бывает со всяким, кого преследует неотвязная мысль, поведал Гильруа о своей тоске и о своем одиночестве. Когда он высказал все, что было у него на душе, кончил свой длинный, скорбный монолог и, стремясь во что бы то ни стало облегчить душу, наивно признался, как он жаждет любви и постоянной близости женщины, которая жила бы с ним вместе, граф подтвердил, что в браке есть и хорошая сторона. Прибегнув к своему парламентскому красноречию, дабы воспеть прелести своей семейной жизни, он произнес длинное похвальное слово графине, а Оливье все время кивал головой серьезно и одобчительно.

Счастливым тем, что речь зашла о графине, но завидуя личному счастью, которое Гильруа превозносил по долгу семьянина, художник произнес, наконец, тихо и с искренним убеждением:

— Нет, это вам повезло! Польщенный депутат согласился с ним.

— Я очень хотел бы, чтобы она вернулась, — снова заговорил он, — право, сейчас она внушает мне тревогу. Знаете что: раз в Париже вам скучно, то вы могли бы съездить в Ронсьер и привезти ее сюда! Вас-то она послушается: ведь вы ее лучший друг, ну, а муж... вы понимаете...

— Да я бы с величайшей радостью! — в восторге подхватил Оливье. — Только вот... Как вы думаете: она не рассердится, если я вот так

возьму да и приеду?

— Ничуть не рассердится. Поезжайте, дорогой!

— Ну, если так, я согласен. Завтра в час выезжаю. Не послать ли нам телеграмму?

— Нет, нет, это я беру на себя. Я предупрежу ее, чтобы она выслала за вами на станцию экипаж.

Они уже отобедали и снова вышли на бульвары, но не прошло и получаса, как граф внезапно покинул художника под предлогом, что у него какое-то неотложное дело, о котором он чуть-чуть не забыл.

Глава 2

Графиня и ее дочь, одетые в черный креп, только что сели завтракать друг против друга в просторной столовой Ронсьера. На стенах, в старых рамах с облупившейся позолотой, висели в ряд наивно выписанные портреты предков — то была целая портретная галерея предков Гильруа: один — в кирасе, другой — в камзоле, тот — в форме гвардейского офицера и в напудренном парике, этот — в полковничьем мундире времен Реставрации. Два лакея, неслышно ступая по полу, прислуживали молчавшим женщинам; вокруг хрустальной люстры летали мухи облачком кружившихся и жужжавших черных точек.

— Отворите окна, — сказала графиня. — Здесь довольно прохладно.

Три окна, широких, как бухты, высотой от пола до потолка, распахнулись настежь. Теплый воздух, несший с собой запах нагретой солнцем травы и отдаленный шум полей, ворвался в эти три огромные отверстия и смешался с сыроватым воздухом большой комнаты, сдавленной толстыми стенами.

— Ах, — как хорошо! — глубоко дыша, сказала Аннета.

Взгляды обеих женщин обратились к окнам; они смотрели на длинную зеленую парковую лужайку, на которой там и сям были разбросаны купы деревьев и с которой, насколько хватал глаз, видны были желтеющие поля, до самого горизонта сверкавшие золотым ковром спелых хлебов, а над ними сияло ясное голубое небо, чуть подернутое легкой полуденной дымкой, висевшей над напоенной солнцем землей.

— После завтрака пойдем на далекую прогулку, — сказала графиня. — Мы можем дойти до Бервиля берегом реки, а то в поле будет слишком жарко.

— Да, мама, и возьмем с собой Джулио: он будет спугивать куропаток.

— Ты же знаешь, что отец это запретил.

— Но ведь папа в Париже! Джулио такой смешной, когда делает стойку! Смотри: вон он дразнит коров. Господи, до чего он забавный!

На лугу отдыхали три неповоротливые коровы со вздувшимися животами; наевшись до отвала, изнемогая от жары, они разлеглись, тяжело дыша под палящими солнечными лучами. Стройный, белый с рыжими подпалинами спаниель с отчаянной, веселой, притворной яростью метался от одной коровы к другой, лаял, подпрыгивал так, что при каждом прыжке его мохнатые уши взлетали, неистовствовал, пытаясь заставить подняться

трех тучных животных, которым этого вовсе не хотелось. Это была любимая игра собаки, которую она затевала всякий раз, как замечала лежащих коров. Коровы с неудовольствием, но без страха глядели на нее своими большими влажными глазами и, чтобы не упустить ее из виду, поворачивали головы.

— Ату, Джулио, ату! — крикнула Аннета из окна. Пес, науськиваемый ею и все больше смелевший, залаял еще громче: теперь он отваживался подбегать почти вплотную к животным, делая вид, что хочет укунить. Коровы забеспокоились; нервные подергивания кожи, которыми они отгоняют мух, становились все чаще и продолжительнее.

Вдруг, разбежавшись и не успев вовремя остановиться, пес подскочил так близко к одной из коров, что ему пришлось перепрыгнуть через нее, чтобы не полететь кубарем. Тяжелое на подъем животное, которое он при этом слегка задел, испугалось и сперва подняло голову, а затем, громко сопя, поднялось. Его примеру последовали две другие коровы; Джулио затанцевал вокруг них танец победителя, а Аннета поздравила его:

— Браво, Джулио, браво!

— Ну, детка, садись же за стол! — сказала графиня.

Но девушка, приставив руку щитком к глазам, объявила:

— Смотри! Посыльный с телеграфа!

Невидимая тропинка пропадала в пшенице и в овсах; синяя блуза, приближаясь к дому, казалось, ровно скользила над колосьями, благодаря размеренному шагу посыльного.

— Боже мой! Только бы не дурная весть! — прошептала графиня.

Она все еще трепетала от ужаса, надолго поселяемого в нас смертью любимого существа, о которой мы узнаем из телеграммы. И теперь она не могла бы сорвать наклейку и развернуть маленький голубой листочек без дрожи в пальцах и волнения в душе, без страха, что в этой бумажке, которую так трудно раскрыть, притаилось новое горе и что она опять заплачет.

Но Аннете, полной молодого любопытства, как раз нравилось все, что приходит к нам неожиданно. Ее сердце, которому жизнь причинила боль впервые, могло ожидать лишь радостей от страшной черной сумки, висящей на боку у почтальонов и сеющей столько волнений на городских улицах и полевых дорогах.

Графиня перестала есть и молча следила за шедшим к ней человеком, несшим несколько строчек, всего несколько строчек, которые, быть может, поразят ее, словно удар ножом в сердце. Задышавшись от волнения, графиня старалась угадать, что это за спешное извещение. О чем? От кого?

Внезапно ее пронзила мысль об Оливье. Быть может, он болен? Или тоже умер?

Десять минут ожидания показались ей бесконечными; потом, распечатав телеграмму и увидев подпись мужа, она прочла: «Сообщаю, что наш друг Бертен выезжает в Ронсьер в час дня. Вышли на станцию фаэтон. Целую».

— Ну что там, мама? — спросила Аннета.

— К нам приезжает господин Оливье Бертен.

— Ах, как приятно! А когда?

— Сегодня.

— В четыре?

— Да.

— Какой же он милый!

Но графиня побледнела: с некоторых пор у нее появилась новая забота, и неожиданный приезд художника показался ей такой же страшной угрозой, как все, что за мгновение перед тем рисовалось ее воображению.

— Ты поедешь встретить его, — сказала она дочери.

— А ты, мама, разве не поедешь?

— Нет, я буду ждать вас здесь.

— Почему? Это его огорчит.

— Я неважно себя чувствую.

— Ты же только что хотела идти пешком в Бервиль!

— Да, но после завтрака мне стало плохо.

— К тому времени пройдет.

— Нет, лучше я сейчас поднимусь к себе. Как только вы приедете, вели доложить мне.

— Хорошо, мамочка.

Приказав, чтобы к назначенному часу был подан фаэтон и приготовлена комната, графиня ушла к себе и заперлась.

До сих пор ее жизнь протекала почти без страданий; единственным осложнением была ее связь с Оливье, а единственной тревогой — забота о том, чтобы сохранить ее. Это ей удавалось; в этой борьбе она всегда побеждала. После того, как она согласилась на блестящий брак, но брак не по любви, после того, как она приняла любовь в виде дополнения к счастливому существованию, после того, как она пошла на преступную связь, — главным образом, по влечению сердца, но отчасти и из благоговения перед самым этим чувством, вознаграждавшим ее за пошлую засасывавшую рутину, — ее сердце, убаюканное успехами и комплиментами, требовательное сердце светской красавицы, для которой и

существуют все земные радости, замкнулось, спряталось в том счастье, что подарил ей случай, и у нее оставалось одно желание: уберечь его от постоянно грозивших ему неожиданностей. С благосклонностью красивой женщины относилась она; «приятным событиям в своей жизни, и, не ища приключений, не мучаясь новыми стремлениями и жадой неизведанного, но, будучи женщиной нежной, настойчивой и предусмотрительной, женщиной, умеющей довольствоваться настоящим и бессознательно боящейся завтрашнего дня, она умела осторожно, экономно, мудро наслаждаться тем, что посылала ей Судьба.

Но постепенно, так, что она сама не осмеливалась себе в этом признаться, в душу ее закрадывалась неясная тревога о том, что жизнь проходит, что старость близка. Эта мысль походила на слабый, но непрекращающийся зуд. Однако, прекрасно зная, что этот жизненный спуск бесконечен, что, раз начав спускаться, уже не остановишься никогда, подчиняясь инстинкту самосохранения, она заскользила в пропасть, закрыв глаза, чтобы не погубить свою мечту, чтобы избежать головокружения при виде бездны и отчаяния от сознания своего бессилия.

И так она жила, улыбаясь и словно гордясь тем, что долго сохраняла красоту, и, когда рядом с ней появилась Аннета со всей свежестью восемнадцатилетней девушки, она не только не страдала от такого соседства — напротив: она торжествовала, что она, с ее искусно поддерживаемой красотой зрелости, может быть предпочтена этой девочке, только расцветающей под светоносными лучами юности.

Она даже думала, что вступает в счастливую и спокойную полосу жизни, но смерть матери поразила ее в самое сердце. Ее охватило то глубокое отчаяние, которое не оставляет места ни для какой мысли о чем-либо другом. Безутешная скорбь завладела ею, и она с утра до вечера старалась припоминать малейшие черточки, характерные выражения покойной, как та выглядела в молодости, какие платья носила прежде, — дочь словно прятала на дне своей памяти те реликвии и собирала все те интимные, незначительные воспоминания исчезнувшего прошлого, которыми теперь будет питать свои скорбные думы. Потом, когда она дошла до такого отчаяния, что с ней поминутно случались нервные припадки и обмороки, все накопившееся горе денно и нощно выливалось у нее в слезах.

Как-то к ней в комнату вошла горничная и, открывая ставни и раздвигая занавески, спросила:

— Барыня! Как ваше здоровье? Чувствуя себя изнуренной и слабой от того, что столько плакала, она ответила:

— Ах, очень плохо! Право, я больше не могу. Держа поднос с чаем, служанка взглянула на свою хозяйку и, расстроенная ее бледностью, заметной даже на белизне постели, проговорила с искренним сочувствием:

— Правда ваша, барыня, вид у вас неважный. Надо бы вам позаботиться о себе.

Тон, которым это было сказано, точно иголкой, кольнул графиню в самое сердце, и, не успела девушка выйти, как она встала и подошла к большому зеркальному шкафу, чтобы посмотреть на себя.

При виде своего отражения она остолбенела — так напугали ее впалые щеки, красные глаза, все страшные перемены, совершившиеся за несколько дней страданий. Ее лицо, которое она так хорошо знала, которое она так часто рассматривала в разных зеркалах, все выражения, все милые гримасы которого она так тщательно изучила, цвет которого она уже столько раз подновляла, уничтожая легкие следы утомления, ее лицо, мелкие морщинки которого, заметные при ярком дневном свете, она скрывала, внезапно показалось ей лицом какой-то другой женщины, чужим лицом, искаженным, неизлечимо больным.

Чтобы лучше разглядеть себя, чтобы окончательно убедиться в том, что произошло нежданное несчастье, она подошла к зеркалу, коснулась его лбом, и растекшийся по стеклу пар от ее дыхания затуманил и почти изгладил бледный образ, с которого она не сводила глаз. Ей пришлось достать платок и протереть помутневшее стекло; дрожа от странного волнения, она занялась долгим и тщательным осмотром своего изменившегося лица. Легкими прикосновениями пальцев она расправила кожу щек, разгладила кожу на лбу, приподняла волосы, оттянула веки, чтобы разглядеть белки. Затем открыла рот и бросила внимательный взгляд на чуть потускневшие зубы, в которых сверкали золотые точки; синева десен и желтый оттенок кожи под глазами и на висках огорчили ее.

Она была так поглощена изучением своей разрушающейся красоты, что не услышала, как отворилась дверь, и вздрогнула, когда горничная сказала у нее за спиной:

— Барыня, вы забыли про чай.

Застигнутая врасплох, сконфуженная, смущенная, графиня обернулась, а служанка, угадывая ее мысль, заметила:

— Слишком много вы плакали, барыня, а для кожи хуже не придумаешь: слезы ведь ее сушат. Кровь-то в воду превращается.

— Да и годы берут свое, — грустно заметила графиня.

— Ох, что вы, барыня, вы же еще молодая! — воскликнула девушка. — Отдохнете с недельку — и все как рукой снимет. Только вот

гулять надо, барыня, да стараться больше не плакать!

Одевшись, графиня спустилась в парк и впервые после смерти матери пошла в садик, где когда-то любила ухаживать за цветами и делать букеты, потом вышла к реке и до самого завтрака гуляла по берегу.

Садясь за стол против мужа и рядом с дочерью, она сказала, чтобы узнать, что думают они:

— Мне сегодня лучше. Должно быть, я уже не такая бледная.

— Ну нет, выглядишь ты еще очень неважно, — заметил граф.

Сердце ее сжалось, глаза увлажнились: ведь она уже привыкла лить слезы.

До самого вечера, и на другой день, и в последующие дни, думала ли она о матери, думала ли о себе самой, она все время чувствовала, что рыдания подступают к горлу и вот-вот прорвутся, но она не хотела, чтобы полились слезы, проводя на щеках морщины, и удерживала их, нечеловеческим усилием воли заставляла себя думать о вещах посторонних, овладевая своей мыслью, подчиняя ее себе, отвлекая ее от своего горя; она старалась утешиться, рассеяться, не думать больше о печальных предметах, чтобы вернуть себе здоровый цвет лица.

Главное, ей не хотелось возвращаться в Париж, не хотелось встречаться с Оливье Бертенем до тех пор, пока она не обретет свой прежний облик. Она очень похудела; понимая, что женщина в ее возрасте должна быть полной, чтобы сохранить свежесть, она старалась нагулять себе аппетит в полях и лесах и, хотя возвращалась домой усталая и не чувствуя голода, старалась есть много.

Графу хотелось вернуться в Париж, и он никак не мог понять ее упорство. Наконец, видя, что сопротивление ее непреодолимо, он объявил, что уезжает один и предоставляет графине переехать в город, когда ей заблагорассудится.

На следующий день она получила телеграмму, извещавшую о приезде Оливье.

Она так боялась его первого взгляда, что готова была бежать. Ей хотелось подождать еще недельку-другую. Уход за собой может в одну неделю совершенно изменить лицо — ведь даже молодые, здоровые женщины от самой ничтожной причины за день становятся неузнаваемыми. Но мысль о том, чтобы появиться перед Оливье среди бела дня, в открытом доле, под ярким августовским солнцем, рядом с юной Аннетой, до того встревожила ее, что она тут же решила не ездить на станцию ни в коем случае и ждать художника в полумраке гостиной.

Она поднялась к себе и задумалась. — Знойное дыхание лета время от

времени колыхало занавески. Стрекотали кузнечики. Никогда еще не было ей так грустно. Это уже была не та великая, гнетущая скорбь, которая разрывала, которая терзала ей сердце, которая душила ее при виде бездыханного тела старенькой, горячо любимой мамы. Эта скорбь, которую она считала неисцелимой, спустя всего несколько дней превратилась в боль воспоминаний; теперь она чувствовала, что ее захлестнула широкая волна тоски; накатила она незаметно, но выплыть на поверхность уже не удастся.

Она подавила рвавшиеся из груди рыдания. Всякий раз, когда она чувствовала, что ресницы ее становятся влажными, она быстро вытирала глаза, вставала, начинала ходить по комнате, смотрела на парк, на ворон, совершавших в голубом небе над высокими деревьями медленный, черный полет.

Потом она подходила к зеркалу, окидывала себя пристальным взглядом, стирала след слезы, тронув уголок глаза пуховкой с рисовой пудрой, и смотрела на часы, стараясь угадать, где теперь Оливье.

Как всякую женщину, удрученную воображаемым или настоящим горем, ее тянуло к нему с безумной нежностью. Разве он для нее не дороже жизни, разве он для нее не все, все на свете, все, чем становится для нас с наступлением старости единственное существо, которое мы любим?

Вдруг она услышала вдали щелканье бича, подбежала к окну и увидела фаэтон, запряженный парой лошадей, крупной рысью бежавших мимо лужайки. Сидевший рядом с Аннетой Оливье увидел графиню и помахал ей платком, а она в ответ на его приветствие поманила его обеими руками. Затем спустилась вниз, с бьющимся сердцем, но уже счастливая, трепещущая от радости, что он так близко, что она может видеть его, разговаривать с ним.

Они встретились в прихожей, у двери в гостиную. В неудержимом порыве он раскрыл ей объятия, и голос его потеплел от искреннего волнения:

— Ах, бедная моя графиня, позвольте мне поцеловать вас!

Она закрыла глаза, склонилась, прижалась к нему, подставляя щеки, и, когда он коснулся их губами, шепнула ему на ухо:

— Люблю тебя.

Сжимая ее руки и не выпуская из своих, Оливье взглянул на нее.

— Какое у нас печальное личико! — сказал он. Она почувствовала, что силы оставляют ее.

— Да, и немножко бледненькое, но это ничего, — продолжал он.

— Ах, дорогой Друг, дорогой друг! — лепетала она, желая поблагодарить его и не находя других слов.

Он повернулся, ища глазами исчезнувшую Аннету, и неожиданное промолвил:

— А странно видеть вашу дочь в трауре!

— Почему? — спросила графиня.

— Как почему? — воскликнул он с небывалым воодушевлением. — Да ведь это ваш портрет, который я написал, это мой портрет! Это вы, какую я встретил вас когда-то у герцогини! Помните, как вы прошли к двери под моим взглядом, точно фрегат под пушками форта? Черт побери! Когда теперь я увидел на станции эту малютку, — она стояла на перроне в глубоком трауре, в солнечном ореоле волос, — сердце у меня запрыгало. Я думал, что вот-вот заплачу. Я так хорошо знал вас, изучил вас лучше, чем кто-либо другой, я любил вас больше, чем кто-либо другой, я изобразил вас на полотне, и вот теперь я чуть не сошел с ума. Я был уверен, что вы для того и послали на станцию ее одну, чтобы поразить меня. Боже, боже, как я был потрясен! Говорю вам: я чуть не сошел с ума!

Он крикнул:

— Аннета! Нане!

Голос девушки ответил со двора — там она кормила сахаром лошадей:

— Я здесь, здесь!

— Поди-ка сюда! Она прибежала.

— А ну, стань рядом с мамой!

Она послушалась, и он принялся сравнивать их, но сейчас он повторял: „Да, это поразительно, просто поразительно“ уже машинально, неубежденно: теперь, стоя бок о бок, они не были похожи друг на друга так, как прежде, как перед отъездом из Парижа, — у девушки в этом черном платье появилось новое выражение, выражение лучезарной юности, а мать давно утратила ту яркость цвета волос и цвета лица, которою когда-то, при первой их встрече, ослепила и опьянила художника.

Затем Бертен и графиня вышли в гостиную. Он сиял.

— Ах, как хорошо, что я догадался приехать сюда! — сказал он, но тут же спохватился:

— То есть ваш муж подал мне эту мысль. Он поручил мне привезти вас в Париж. А знаете, что я хочу предложить вам? Конечно, не знаете! Так вот: я предлагаю вам остаться здесь. В такую жару Париж просто отвратителен, а деревня прелестна! Господи, как тут хорошо!

Наступающий вечер наполнял парк прохладой, шевелил ветки деревьев, а с земли начали подниматься невидимые испарения, заволакивавшие горизонт легкой, прозрачной дымкой. Три коровы, низко опустив головы, жадно щипали траву, а четыре павлины, громко хлопая

крыльями, взлетели и уселись на кедр перед окнами дома — там они обычно спали. Издалека, со стороны деревни доносился собачий лай, в тихом воздухе сумерек слышалась переключка человеческих голосов, отдельные слова, летевшие над равниной с одного поля на другое, слышались короткие гортанные крики, которыми подгоняют скот.

Художник стоял с непокрытой головой, глаза его блестели, он дышал полной грудью; отвечая на взгляд графини, он сказал:

— Вот оно, счастье!

Она подошла к нему ближе.

— Оно длится не вечно.

— Будем наслаждаться им, когда оно приходит.

— До сих пор вы не любили деревню, — с улыбкой заметила она.

— Я полюбил ее теперь, потому что здесь вы. Я не могу больше жить там, где вас нет. Когда человек молод, он может любить и в разлуке, — он может любить в письмах, в мыслях, в одном лишь пылком воображении, — быть может, он чувствует, что жизнь еще впереди, а быть может, и потому, что в таком возрасте страсть в нем гораздо сильнее, нежели потребности сердца, а вот в мои годы любовь становится привычкой больного, согревающим компрессом для души, у которой осталось только одно крыло и которая уже не так высоко витает в идеальном мире. В сердце уже нет восторга, у него одни лишь эгоистические требования. А кроме того, я прекрасно понимаю, что мне нельзя терять время, коль скоро я хочу насладиться тем, что у меня еще есть.

— Подумаешь, старик! — сказала она, беря его за руку.

— Ну конечно, конечно, старик! — подхватил он. — Все говорит об этом: волосы, характер, который меняется с годами, тоска, которая на меня находит. Черт побери! Вот что доселе было мне неведомо: тоска! Если бы в тридцать лет мне сказали, что придет пора, когда меня будет одолевать беспричинная тоска, что я стану нервным, недовольным всем на свете, я бы не поверил. И это — доказательство того, что мое сердце тоже состарилось.

Она ответила с глубокой уверенностью:

— О нет, мое сердце совсем молодо! Оно не изменилось. Быть может, оно даже помолодело. Когда-то ему было двадцать лет, а сейчас всего-навсего шестнадцать.

Долго разговаривали они, поддавшись настроению этого вечера, стоя у открытого окна совсем близко друг от друга, ближе, чем когда бы то ни было, в час нежности, такой же предзакатной, как и этот час дня.

— Кушать подано! — объявил вошедший слуга.

— Вы доложили моей дочери? — спросила графиня.

— Барышня в столовой.

Они сели ужинать втроем. Ставни были закрыты; два больших шестисвечных канделябра освещали лицо Аннеты, отчего казалось, что ее волосы посыпаны золотой пудрой. Бертен с улыбкой неотрывно смотрел на нее.

— Боже, как она хороша в черном! — говорил он. Любуясь дочерью, он обращался к матери, словно благодаря ее за то, что она дала ему это наслаждение. Когда они вернулись в гостиную, луна уже стояла над деревьями парка. Их темная масса напоминала большой остров, а поля за ними казались морем, на которое спустился легкий туман, стлавшийся по равнине.

— Мама! Пойдем гулять, — предложила Аннета. Графиня согласилась.

— Я возьму Джулио.

— Хорошо, возьми, если хочешь.

Они вышли. Девушка бежала впереди, играя с собакой. Проходя по лугу, они слышали сопение коров; проснувшись и зачуяв своего врага, они подняли головы и посмотрели на него. Вдали луна обрызгивала ветви деревьев дождиком тонких лучей; омывая листву, они скользили до самой земли и растекались по дороге лужицами желтоватого сияния. Аннета и Джулио бегали, и при взгляде на них казалось, что в эту ясную ночь на сердце у них одинаков» радостно и легко, и восторг их находит себе выход в прыжках.

По прогалинам, куда лунные волны падали, как в колодец, девушка проносилась, словно видение, и художник подзывал ее, очарованный этим черным призраком с сияющим, светлым лицом. А стоило ей упорхнуть — и он, проходя там, где тень была гуще, снова сжимал руку графини и все искал ее губы, точно всякий раз при виде Аннеты оживало нетерпение его сердца.

Наконец они добрались до края равнины, откуда вдали едва виднелись разбросанные там и сям купы деревьев. Горизонт пропадал за молочно-белым туманом, затопившим поля; легкая тишина, живая тишина этого ясного и теплого простора была полна той неизъяснимой надежды, того смутного ожидания, которые придают такую прелесть летним ночам. Длинные, тонкие облачка высоко-высоко в небе, казалось, были сотканы из серебряной чешуи. Остановившись на несколько секунд, можно было услышать в печной тиши неясный, непрерывный шепот жизни, множество слабых звуков, гармония которых казалась сперва гармонией безмолвия.

На лугу кричала своим дважды повторяемым криком перепелка, и Джулио, наставив уши, крадучись, пошел на эти две нотки птичьей

флейты. Аннета двинулась за ним, такая же легкая, как он, пригибаясь и затаив дыхание.

— Почему прекрасные мгновения проходят так быстро? — спросила графиня, оставшись наедине с художником. — Ничего мы не можем удержать, ничего не можем сохранить. Нам даже не хватает времени для того, чтобы насладиться счастливой минутой. Миг — и конец.

Оливье поцеловал ей руку и с улыбкой сказал:

— Ну, сейчас мне не до философии. Я целиком отдаюсь минуте.

— Вы любите меня не так, как я вас, — тихо проговорила она.

— Полно вам!..

— Нет, — перебила она, — вы любите во мне, как вы прекрасно сказали сегодня перед обедом, женщину, удовлетворяющую потребность вашего сердца, женщину, которая никогда не причиняла вам никаких страданий и которая внесла в вашу жизнь какую-то долю счастья. Я это чувствую, я это знаю. Да, я знаю, я страшно рада, что была к вам добра, что была вам полезна и помогала вам. Вы любили, вы и теперь еще любите все, что находите во мне приятного: мое внимание к вам, мои восторги, мое старание вам нравиться, мою страсть, то, что я принесла вам в дар все свое существо. Но вы любите не меня, поймите! Я чувствую это, как чувствуют дуновение холодного ветра! Вы любите во мне многое: мою красоту, которая уходит, мою преданность, ум, в котором мне не отказывают, то мнение, которое составил свет обо мне, и то мнение, которое я храню в своем сердце о вас; но не меня, не меня самое, отнюдь не меня — вам это понятно?

Он ласково усмехнулся.

— Не совсем. Вы делаете мне совершенно неожиданную сцену с упреками.

— О боже мой! — воскликнула она. — Я хотела, чтобы вы поняли, как люблю вас я! Видите: я ищу для этого слова и не нахожу их. Когда я думаю о вас, а я думаю о вас постоянно, — я всем телом и всей душой ощущаю невыразимую радость от того, что принадлежу вам, и непреодолимую потребность отдать вам себя в еще более полной мере. Мне хотелось бы принести вам в жертву всю себя, потому что, когда любишь, нет большего счастья, чем отдавать, всегда отдавать все, все — свою жизнь, свою мысль, свое тело, все, что у тебя есть, и чувствовать, что отдаешь, и быть готовой поставить на карту все, чтобы отдать еще больше. Я люблю вас так, что люблю даже страдания, которые я испытываю из-за вас, люблю мои тревоги, терзания, приступы ревности, боль от того, что чувствую, что вы уже не так нежны со мною. Я люблю в вас того, кого знаю я одна, — не

того, кто принадлежит свету, кем восторгаются, кто всем известен, — я люблю того, кто принадлежит мне, кто уже не может измениться, кто не может состариться, кого я уже не могу не любить, потому что глаза мои смотрят на него и видят только его. Но высказать все это невозможно. Нет слов, чтобы выразить это. Он тихо-тихо повторил несколько раз:

— Дорогая, дорогая, дорогая моя Ани!

Джулио вернулся вприпрыжку, — он не нашел перепелку, которая замолчала при его приближении, — а за ним мчалась запыхавшаяся Аннета.

— Я больше не могу! — объявила она. — Разрешите мне повиснуть на вас, господин художник.

Она оперлась на свободную руку Оливье, он оказался между двумя женщинами, и так они и пошли домой под темными деревьями. Все молчали. Он шагал, весь во власти своих спутниц, и всем существом ощущал флюиды, исходившие от женщин и пронизывавшие его с головы до ног. Он не старался рассмотреть их лица — ведь обе женщины были рядом, и он даже закрывал глаза, чтобы острее чувствовать их присутствие. Они вели его, направляли, и он шел, не глядя, куда идет, одинаково влюбленный и в ту, что была слева, и в ту, что была справа, не задумываясь над тем, кто из них справа, а кто слева, которая мать и которая дочь. С какой-то неосознанной, утонченной чувственностью он охотно отдавался этому тревожащему ощущению. Он нарочно старался смешивать их в своем сердце, не различать их мысленно, он убаюкивал свою страсть прелестью этого слияния. Разве не одна женщина эти мать и дочь, столь похожие друг на друга? И разве дочь явилась на землю не для того лишь, чтобы омолодить его давнюю любовь к матери?

Когда, войдя в дом, он снова раскрыл глаза, ему показалось, будто сейчас миновали лучшие минуты его жизни, что он пережил самое странное, совершенно необъяснимое и самое полное ощущение, которое может испытать мужчина, опьяненный одинаково нежным чувством, вызванным пленительностью обеих женщин.

— Какой чудный вечер! — сказал он, как только опять очутился между ними, при свете ламп.

— Мне совсем не хочется спать! — воскликнула Аннета. — В такую хорошую погоду я готова гулять всю ночь!

Графиня взглянула на стенные часы.

— О, уже половина двенадцатого! Пора ложиться, дитя мое!

Они расстались и разошлись по своим комнатам. Но только девушка, которая не желала идти спать, заснула мгновенно.

На следующее утро, в обычное время, горничная раздвинула занавески, открыла ставни, потом принесла чай и, посмотрев на свою еще заспанную хозяйку, сказала:

— Барыня! Вы сегодня выглядите лучше.

— Вы находите?

— Ну да! Лицо не такое усталое.

Еще не видя себя в зеркале, графиня уже прекрасно знала, что это правда. На сердце стало легко, она не чувствовала его биения, она чувствовала, что оживает. Кровь струилась в ее жилах не так быстро, горячо, лихорадочно, как вчера, когда она сообщала всему ее телу нервное напряжение и тревогу, зато теперь она разливала по телу блаженное тепло, а вместе с ним веру в счастье.

Когда служанка удалилась, графиня подошла к зеркалу. Она удивилась — она чувствовала себя очень хорошо и полагала, что увидит себя помолодевшей за одну ночь на несколько лет. Потом она поняла, какое ребячество — питать такого рода надежды, и, взглянув на себя еще раз, примирилась на том, что цвет лица у нее стал ярче, глаза не такие усталые, а губы свежее, чем накануне. На душе у нее было спокойно, и потому она не огорчилась и с улыбкой подумала: «Что ж, еще несколько дней — и все будет в порядке. Я слишком много выстрадала, чтобы так скоро оправиться».

Но она долго, очень долго сидела за туалетным столиком, где на обшитой кружевом муслиновой скатерти перед красивым граненым зеркалом были изящно и аккуратно разложены все маленькие орудия кокетства в оправе из слоновой кости, с ее вензелем, увенчанным короной. Этих инструментов, предназначенных для самых деликатных и таинственных надобностей, было тут великое множество: одни — стальные, тонкие и острые, странной формы, похожие на хирургические инструменты для детей; другие — круглые и мягкие, из перьев, из пуха, из кожи каких-то неведомых животных, изготовленные для того, чтобы ласкать нежную кожу прикосновением душистой пудры, жидких или жирных кремов.

Долго работали ими искусные пальцы, словно легкими поцелуями пробегая по лицу от губ до висков, изменяя не очень удачно найденные оттенки, подчеркивая линию глаз, подкрашивая ресницы. Наконец она спустилась вниз, будучи почти уверена, что первое впечатление художника при виде ее не окажется чересчур для нее невыгодным.

— Где господин Бертен? — спросила она слугу, встретившегося ей в прихожей.

— Господин Бертен в саду, они с барышней играют в лаун-теннис, — отвечал тот.

Она издали услышала их голоса, выкрикивавшие число очков.

Сильный голос художника и тонкий голосок девушки по очереди объявляли:

— Пятнадцать!

— Тридцать!

— Сорок!

— Больше!

— Ровно!

— Больше!

— Сет!

Сад, где была разбита площадка для лаун-тенниса, представлял собою большой травяной квадрат, обсаженный яблонями; вокруг него тянулись парк, огороды, поля и луга, принадлежавшие семейству Гильруа. На откосах, которыми этот громадный газон был огражден, как укрепленный лагерь валами, на длинных грядках росли цветы; самые разные цветы, полевые и садовые: множество роз, гвоздики, гелиотропы, фуксии, резеда и масса других цветов, от которых, как утверждал Бертен, воздух приобретал медвяный привкус. Над этим цветочным полем в самом деле нависло светлое, жужжащее облачко пчел, чьи ульи с соломенными куполами выстроились вдоль гряд.

Как раз посредине сада срубили несколько яблонь, чтобы расчистить место для лаун-тенниса; просмоленная сетка, натянутая поперек площадки, разделяла ее на два поля.

По одну сторону сетки Аннета, с непокрытой головой, в черной юбке, приподнимавшейся, обнажавшей ноги до щиколотки и даже до половины икр, когда она неслась за летящим мячом, с блестящими глазами и разгоревшимися щеками, бегала взад и вперед, запыхавшаяся и утомленная уверенной, безукоризненной игрой противника.

А он, с чуть обозначившимся брюшком, в белых фланелевых брюках, стянутых на поясе поверх такой же рубашки, в белой фуражке с козырьком, хладнокровно ждал мяч, точно определял момент, когда он начнет падать, принимал и отбрасывал его не спеша, не суетясь, легко и непринужденно, с увлечением и ловкостью профессионала, которые он вносил во всякую игру.

Аннета первая заметила мать.

— Доброе утро, мама! — крикнула она. — Подожди минутку, мы сейчас кончим.

Это секундное промедление погубило ее. Почти крутясь на лету, мяч быстро и низко пронесся мимо нее, коснулся земли и вышел из игры.

— Выиграл! — закричал Бертен.

Пока девушка, подвергшаяся внезапному нападению, упрекала его за то, что он воспользовался тем, что она отвлеклась, Джулио, приученный искать и находить закатившиеся и потерявшиеся мячи, словно упавших в кусты куропаток, бросился за мячом, бежавшим перед ним по траве, осторожно ухватил его зубами и принес назад, виляя хвостом.

Теперь и художник поздоровался с графиней, но, возбужденный борьбой, довольный своей гибкостью, он спешил возобновить игру и окинул рассеянным, беглым взглядом лицо, которое ради него она так старалась омолодить!

— Вы позволите, дорогая графиня? — спросил он. — Я боюсь простудиться и схватить невралгию. Чтобы не мешать Бертену и Аннете, она села на скошенное утром сено и начала следить за игрой; на сердце у нее было грустно.

Дочь, раздосадованная тем, что все время проигрывает, горячилась, волновалась, то разочарованно, то торжествующе вскрикивала, стремглав мчалась с одного края площадки на другой, и от резких движений волосы ее то и дело падали, распускались и рассыпались по плечам. Она подбирала их и, зажав ракетку между колен, нетерпеливо поправляла, как попало втыкая в прическу шпильки.

А Бертен издали кричал графине:

— Ведь правда, она молода и прекрасна, как день?

Да, она была юной, и ей можно было бегать, ей можно было разгорячиться, раскраснеться, растрепаться, все себе позволить, ни на что не обращать внимания: от всего этого она только хорошела. Они вновь с жаром принялись за игру, и графиня, которой становилось все тяжелее и тяжелее, подумала, что партию в теннис, эту детскую беготню, эту забаву котят, гоняющихся за бумажными шариками, Оливье предпочитает тихой радости посидеть с ней теплым утром, радости почувствовать, что любящая женщина рядом с ним.

Когда вдали раздался первый звонок к завтраку, ей показалось, что ее выпустили на волю, что с сердца у нее сняли камень. Но, когда она оперлась на его руку, он сказал ей:

— Я сейчас резвился, как мальчишка. До чего же здорово быть или хотя бы думать, что ты молод! Да, да, все дело в этом! Когда больше не хочется бегать, — конец!

Вставая из-за стола, графиня, вчера в первый раз не побывавшая на

кладбище, предложила пойти туда вместе, и все трое отправились в село.

Путь на кладбище лежал сперва через лес, где протекала речушка, названная Лягушатней, — конечно, потому, что в ней водились лягушата, — потом надо было идти полем, потом появлялась церковь, окруженная домами, служившими кровом бакалейщику, булочнику, мяснику, виноторговцу и другим мелким лавочникам, к которым приходили за провизией крестьяне.

Они шли молча и задумчиво: их угнетала мысль о покойнице. Подойдя к могиле, обе женщины опустились на колени и долго молились. Склонившись над могилой и застыв в этой позе, графиня прижимала платок к глазам: она боялась, что заплачет и что слезы потекут по ее лицу. Она молилась не так, как до сих пор, когда словно вызывала мать из могилы, с отчаянием обращаясь к надгробному памятнику, так что в конце концов ее охватывало мучительное волнение и она начинала верить, что покойница слышит и слушает ее; теперь она просто горячо шептала привычные слова *Pater noster* и *Ave Maria*^[2]. Сегодня она не выдержала бы такого напряжения, у нее не хватило бы душевных сил, чтобы вести, не получая ответа, эту страшную беседу с тем, что могло еще оставаться от исчезнувшего существа, возле ямы, скрывавшей его останки. Сейчас ее женское сердце было одержимо другими чувствами, которые отвлекали его, возбуждали, терзали, и ее пламенная мольба поднималась к небу, к которому возносится так много непонятных молений. Она взывала к богу, к неумолимому богу, бросившему на землю всех несчастных, и просила его сжалиться над ней, как сжалился он над той, которую призвал к себе.

Она не смогла бы выразить словами то, о чем просила, — настолько еще неясными и смутными были ее опасения, — но она чувствовала, что нуждается в божественной помощи, в чудотворной защите от надвигающихся опасностей и неизбежных страданий.

Аннета, тоже прошептав обычные молитвы, с закрытыми глазами о чем-то думала, не желая вставать с колен раньше матери.

Оливье Бертен смотрел на них и любовался чудесной картиной; ему даже было жаль, что он не может сделать набросок.

На обратном пути они заговорили о жизни человека, медленно перебирая те горькие и поэтические мысли, мысли трогательные и трагические, что часто служат темой для разговора между мужчинами и женщинами, которых жизнь ранит и сердца которых сливаются в общей печали.

Анкета еще не созрела для такого рода мыслей и оттого поминутно отбегала на край дороги и рвала полевые цветы.

Но Оливье очень хотелось побыть с ней, он нервничал, видя, что она то и дело отходит от него, и не спускал с нее глаз. Его злило, что окраской цветов она интересуется больше, нежели тем, о чем он говорит. Ему было очень обидно, что он не может взять ее в плен, подчинить себе так же, как ее мать, и ему хотелось протянуть руку, схватить ее, удержать, запретить ей уходить. Он чувствовал, что она слишком подвижна, слишком молода, слишком равнодушна, слишком свободна, свободна, как птица, как молодая собака, которая не слушается и не идет на зов, у которой в крови независимость, прекрасный инстинкт свободы, еще не побежденный ни окриком, ни хлыстом.

Чтобы вызвать у нее интерес, он заговорил о вещах более веселых, задавал ей вопросы, пытаясь пробудить в ней женское любопытство и желание слушать; но можно было подумать, что сегодня в голове Аннеты, как в бескрайнем поднебесье, как над волнующейся нивой, гулял своевольный ветер, уносивший ее внимание и развеивавший его в пространстве: подбежав к ним, она бросала ему в ответ, которого он ждал от нее, какую-нибудь банальную фразу, рассеянный взгляд и снова возвращалась к своим цветам. В конце концов, подстрекаемый ребяческим нетерпением, он вышел из себя и, когда она подошла к матери и попросила ее поддержать букет, чтобы она могла нарвать другой, он поймал ее за руку и крепко сжал локоть, чтобы она не могла снова ускользнуть. Она со смехом отбивалась и вырывалась изо всех сил; тогда его мужской инстинкт подсказал ему средство, к которому прибегают слабые духом: видя, что заинтриговать ее он не может, он стал подкупать ее, играя на ее кокетстве — Назови мне, — обратился он к ней, — твой любимый цветок, и я закажу тебе такую же брошку.

— Брошку? Как это? — в недоумении спросила она.

— Из камней того же цвета: если это мак, то из рубинов, если василек — из сапфиров с маленьким листочком из изумрудов.

Лицо Аннеты озарилось той благодарной радостью, какую оживляют женские лица обещания и подарки — Василек, — сказала она. — Это такой милый цветочек!

— Василек так василек! Вернемся в Париж, пойдем и закажем.

Больше она не отходила от них, привлеченная к нему мыслью о драгоценности, которую уже старалась вообразить, представить себе.

— А много времени надо, чтобы сделать такую вещь? — спросила она.

Он засмеялся, понимая, что она попала на удочку.

— Не знаю; все зависит от того, насколько сложная это работа. Мы поторопим ювелира.

Внезапно ее поразила прискорбная мысль:

— Но я не смогу ее носить: ведь я же в глубоком трауре!

Он взял девушку под руку и прижал ее к себе.

— Ну что же, ты подождешь, пока кончится траур; это не помешает тебе любоваться твоей брошкой.

Как и вчера вечером, он шел между ними, держа их под руку, зажатый, стиснутый их плечами, и, чтобы видеть, как они поднимают на него свои одинаково голубые глаза, испещренные черными точечками, он заговаривал с каждой поочередно, поворачивая голову то к одной, то к другой. Их освещало яркое солнце, так что теперь он уже не мог смешивать графиню с Аннетой, но все больше и больше смешивал дочь с возрождающимся воспоминанием о той женщине, какой некогда была мать. Ему хотелось поцеловать их обеих: одну — чтобы снова ощутить на ее щеках и затылке ту розовую и белокурую свежесть, какую он наслаждался когда-то и чудесное возвращение которой вновь увидел сегодня; другую — потому что все еще любил ее и чувствовал властный призыв старой привычки. Он замечал сейчас и понимал, что его страсть к графине, давно уже угасавшая, и его нежность к ней оживали при виде ее воскресшей молодости.

Аннета опять ушла рвать цветы. Оливье больше не звал ее, словно прикосновение ее руки и радостное сознание того, что он доставил ей удовольствие, успокоили его; но он следил за всеми ее движениями с тем наслаждением, какое мы испытываем при виде существ или предметов, которые пленяют и чаруют наш взор. Когда она возвращалась с целой охапкой цветов, он начинал дышать глубже, бессознательно стараясь уловить нечто, исходившее от нее: частицу ее дыхания или теплоты ее тела в воздухе, всколыхнувшись от ее бега. Он смотрел на нее с тем восторгом, с каким смотрят на утреннюю зарю, с каким слушают музыку, и чувствовал сладостную дрожь, когда она нагибалась, когда она выпрямлялась, поднимая обе руки, чтобы привести в порядок прическу. И час от часу сильнее и сильнее вызывала она в нем память былого! Ее смех, ее шалости, ее движения вызывали у него на губах вкус поцелуев, которые он когда-то получал и возвращал; она превращала далекое прошлое, полное ощущение которого он давно утратил, в нечто похожее на преображенное мечтой настоящее; она спутывала времена, числа, годы жизни его души и, вновь зажигая охладевшие чувства, незаметно для него сливала вчерашний день с завтрашним, воспоминания с надеждой.

Роясь в памяти, он спрашивал себя: обладала ли графиня в самом пышном своем расцвете этой гибкой прелестью козочки, этой смелой, капризной, неотразимой прелестью, напоминающей грацию бегающего и

прыгающего животного? Нет. В ней было больше пышности и меньше дикости. Сперва городская девушка, затем городская женщина, она никогда не впивала воздух полей, не дышала запахом трав, и хорошела она в тени стен, а не, под небом, залитым солнцем.

Когда они вернулись в усадьбу, графиня села писать письма за низенький столик у окна; Аннета поднялась к себе в комнату, а художник, с сигарой во рту, снова вышел из дому и, заложив руки за спину, медленно зашагал по извилистым дорожкам парка. Но он не уходил далеко, чтобы не потерять из виду белый фасад и островерхую крышу дома. Как только дом исчезал за купами деревьев, за густым кустарником, на душе у него становилось сумрачно, как это бывает, когда облако закрывает солнце; но стоило дому снова показаться в просветах листвы, как Бертен останавливался и смотрел на два ряда верхних окон. Потом опять шел дальше.

Он был возбужден, но доволен. Чем же? Всем.

Сегодня воздух казался ему чистым, а жизнь — прекрасной. Он снова чувствовал в теле мальчишескую легкость, ему хотелось бегать и ловить желтых бабочек, мелькавших в воздухе над лужайкой, словно они были подвешены на резинках. Он напевал арии из опер. Несколько раз повторял он знаменитую фразу Гуно: «О, позволь, ангел мой, на тебя наглядеться!» — находя в ней глубоко нежную выразительность, которую прежде никогда так остро не чувствовал.

Неожиданно он задал себе вопрос: как могло случиться, что он так быстро изменился? Еще вчера, в Париже, он был недоволен всем на свете, все ему надоело, все раздражало, а сегодня он спокоен, и все у него хорошо, словно некий благоволивший к нему бог заменил его душу новой. «Этому доброму богу, — подумал он, — не мешало бы заодно обновить и тело и сделать меня помоложе».

Вдруг он заметил в чаще Джулио, который за кем-то охотился. Он подозвал его, и, когда пес подбежал к нему и сунул ему под руку свою изящную голову с длинными, мохнатыми ушами, он сел на траву — так ему удобнее было гладить его, — начал говорить ему ласковые слова, положил его голову к себе на колени и расчувствовался при этом так, что поцеловал его, как будто пес был женщиной, сердце которой готово растрогаться в любую минуту.

Послеобеденное время — вместо того, чтобы пойти гулять, как накануне, — они провели по-семейному, в гостиной.

— Однако нам скоро придется уехать, — неожиданно сказала графиня.

— О, не говорите сейчас об этом! — воскликнул Оливье. — Вы не

хотели покидать Ронсьер, пока здесь не было меня! Приехал я, и вы думаете только о том, как бы сбежать отсюда!

— Дорогой друг! Не можем же мы сидеть тут втроем до бесконечности, — заметила она.

— Речь идет отнюдь не о бесконечности, а всего лишь о нескольких днях. Сколько раз я гостил здесь по целым неделям!

— Да, но то было при других обстоятельствах, когда дом был открыт для всех. Тут вмешалась Аннета.

— Ох, мамочка, еще два-три дня! — вкрадчиво заговорила она. — Он так хорошо учит меня играть в теннис! Правда, я сержусь, когда проигрываю, зато потом бываю так довольна, что делаю успехи!

Не далее как сегодня утром графиня подумывала о том, чтобы продлить до воскресенья это окутанное тайной пребывание здесь ее друга, и вдруг захотела уехать, сама не зная, почему. Этот день, от которого она ждала столько хорошего, оставил в ее душе глубокую, невыразимую печаль, беспричинную тревогу, цепкую и смутную, как дурное предчувствие.

Когда она снова очутилась одна в своей комнате, она задумалась над тем, откуда у нее этот новый приступ меланхолии.

Не испытала ли она одно из тех незаметных ощущений, которые касаются души так легко и так быстро, что в мозгу они не оставляют следа, но самые чувствительные струны сердца дрожат от этого прикосновения еще долго? Быть может. Но что это были за ощущения? Она хорошо помнила кое-какие пережитые ею постыдные, неприятные оттенки какого-то чувства — каждая минута приносила что-то свое! Но, откровенно говоря, они были слишком ничтожны, чтобы вызвать у нее такой упадок духа. «Я чересчур требовательна, — подумала она. — Я не вправе так себя мучить».

Она открыла окно, чтобы подышать ночным воздухом, и, опершись локтями на подоконник, загляделась на луну.

Легкий шорох заставил ее посмотреть вниз. Перед домом прогуливался Оливье, «Почему же он сказал, что идет к себе? — подумала она. — Почему не предупредил меня, что выйдет снова, не попросил меня пройти вместе с ним? Ведь он прекрасно знает, как я была бы счастлива! Что же у него на уме?» Мысль о том, что он не захотел погулять с нею, что он предпочел побродить в эту чудную ночь один, с сигарой во рту, — она видела красную огненную точку, — один, когда он мог доставить ей радость побыть с ним, мысль о том, что он не нуждается в ней постоянно, что он не желает постоянно ее видеть, заронила ей в душу новое зерно

горечи.

Она уже хотела закрыть окно, чтобы больше не видеть художника, не поддаваться искушению окликнуть его, как вдруг он поднял глаза и заметил ее.

— Вы мечтаете, глядя на звезды, графиня?

— Да и вы тоже, как я вижу, — отвечала она, — Я просто-напросто вышел подымить.

— Что же вы не сказали мне, что выйдете? — не удержалась она.

— Я только хотел выкурить сигару. Впрочем, я уже возвращаюсь.

— В таком случае спокойной ночи, мой друг!

— Спокойной ночи, графиня!

Отойдя от окна, графиня села на низенький пуфик и заплакала; горничная, которую она позвала, чтобы та раздела ее на ночь, увидела, что у нее красные глаза, и участливо сказала:

— Ох, барыня, завтра вы опять будете плохо выглядеть!

Спала графиня дурно, тревожно, ее мучили кошмары. Проснувшись, она, прежде чем позвонить, открыла окно и раздвинула занавески, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Лицо у нее осунулось, веки припухли, кожа пожелтела, и это так страшно ее огорчило, что ей хотелось сказатьсь больной, лечь в постель и не показываться до вечера.

Но тут ею внезапно овладело непреодолимое желание уехать, уехать сейчас же, с первым поездом, покинуть этот светлый край, где при ярком солнце, заливающим поля, слишком хорошо видны неизгладимые следы, оставленные годами и горем. В Париже люди живут в полумраке комнат, куда даже в полдень тяжелые занавеси пропускают лишь мягкий свет. Там она снова станет прежней, станет красавицей, и ее бледность будет гармонировать с этим тусклым, все скрадывающим освещением. Вдруг перед глазами у нее мелькнуло свежее, раскрасневшееся личико Аннеты, игравшей в лаун-теннис, ее слегка растрепанные волосы. И она поняла, что за неведомая тревога терзала ей душу. Нет, она ничуть не завидовала красоте дочери. Разумеется, нет, но она почувствовала и впервые призналась самой себе, что не должна больше никогда показываться рядом с нею при солнечном свете.

Она позвонила и, еще не напившись чаю, приказала готовиться к отъезду; она написала несколько телеграмм, даже заказала по телеграфу обед на сегодня, закрыла счета в деревне, отдала последние распоряжения; ей не понадобилось и часу для того, чтобы все уладить: ее снедало все возраставшее, лихорадочное нетерпение.

Когда она спустилась, Анкета и Оливье, уже извещенные об ее

неожиданном решении, с удивлением принялись задавать ей вопросы. Видя, однако, что она не дает никакого вразумительного ответа по поводу этого внезапного отъезда, они немного поворчали и всячески выражали свое неудовольствие вплоть до той самой минуты, когда стали прощаться на вокзале в Париже.

Протянув художнику руку, графиня спросила:

— Придете к нам завтра обедать?

— Конечно, приду, — слегка обиженным тоном ответил он — А все-таки вы поступили нехорошо. Всем нам было так весело в Ронсьере!

Глава 3

Едва очутившись наедине с дочерью в двухместной карете, которая везла их домой, графиня сразу почувствовала успокоение, умиротворение, словно после тяжелого приступа. Она свободно дышала, она улыбалась домам, с радостью узнавая город, привычные черты которого все настоящие парижане словно хранят в своих сердцах и перед глазами. Каждая замеченная ею лавка позволяла ей угадать, какие лавки пойдут дальше вдоль бульвара, и припомнить лицо торговца, которое она так часто видела за витриной. Она чувствовала, что спасена! Но от чего? Что приободрилась. Но почему? Что уверена Но в чем?

Когда экипаж остановился под аркою ворот, она легко соскочила на землю и, словно от кого-то убегая, вошла в полумрак лестницы, в полумрак гостиной, в полумрак своей комнаты. Тут она простояла несколько минут, довольная тем, что здесь, в туманном, тусклом, скупом освещении парижского дня, который дает возможность скорее угадывать, нежели видеть, показывать то, что вам хочется, и скрывать то, что вы предпочитаете скрыть, она в безопасности, хотя безрассудное воспоминание о ярком свете, затопляющем поля, еще жило в ней как след, оставленный бесконечным страданием. Когда она вышла к обеду, муж, который только что вернулся домой, ласково поцеловал ее и сказал:

— Ага! Я заранее знал, что милейший Бертен привезет-таки тебя домой. Я не дурак — потому-то и подослал его к тебе. Аннета пресерьезно ответила тем особенным тоном, какой она принимала, когда шутила, — сама она при этом не улыбалась:

— О, ему пришлось туго! Мама никак не могла решиться!

Графиня, слегка смутившись, промолчала.

Она приказала никого не принимать, и в этот вечер никто не приходил. Весь следующий день она провела в разных магазинах, выбирая и заказывая все, что ей было нужно. С молодости, почти с самого детства, она любила длительные примерки перед зеркалами у разного рода знаменитых мастериц. Уже входя к ним, она испытывала радостное чувство при мысли обо всех деталях этой тщательной репетиции за кулисами парижской жизни. Она обожала шуршание платьев «девушек», сбегавшихся при ее появлении, их улыбки, предложения, вопросы, а их хозяйка — портниха, модистка или корсетница — была в ее глазах важной особой, к которой она относилась как к художнице, когда высказывала свое

мнение и спрашивала совета. Еще больше обожала она прикосновения ловких рук молоденьких девиц, которые раздевали, одевали ее и осторожно поворачивали перед ее изящным отражением. Дрожь, пробежавшая под их легкими пальцами по ее шее или по волосам, была одной из самых сладостных маленьких радостей в ее жизни — жизни элегантной женщины.

Правда, сегодня она с некоторым волнением готовилась пройти без вуали, с непокрытой головой, перед этими честными зеркалами. Но первый же визит к модистке успокоил ее. Три выбранные ею шляпки были ей удивительно к лицу, и, когда продавщица убежденно сказала: «О, ваше сиятельство, блондинкам надо бы носить траур всегда!», — она ушла очень довольная и ходила по другим поставщикам уже совершенно уверенная в себе.

Дома она обнаружила записку герцогини, заезжавшей повидаться с ней и писавшей, что заедет вечером; потом писала письма, потом некоторое время предавалась мечтам, удивляясь тому, что простая перемена места отодвинула в прошлое, уже казавшееся далеким, то огромное горе, которое ее истерзало. Она даже не могла поверить, что вернулась из Ронсьера не далее, как вчера, — так изменилось ее душевное состояние после возвращения в Париж: за время этого короткого переезда раны ее словно зарубцевались.

Бертен, явившийся к обеду, увидев ее, воскликнул:

— Вы сегодня ослепительны!

И этот возглас затопил ее горячей волною счастья.

Когда вставали из-за стола, граф, питавший страсть к бильярду, предложил Бертену сыграть партию, женщины тоже прошли в бильярдную, куда им подали кофе.

Не успели мужчины окончить партию, как доложили о приезде герцогини, и все вернулись в гостиную. Вслед за тем появилась баронесса де Корбель с супругом; в голосе ее дрожали слезы. В течение нескольких минут все говорили таким жалостным тоном, что, казалось, они вот-вот расплачутся, но мало-помалу, после расспросов и сочувственных восклицаний, разговор принял другое направление; голоса внезапно зазвучали яснее, и все принялись болтать самым естественным образом, как если бы тень горя, минуту назад омрачившая присутствовавших, мгновенно рассеялась.

Бертен встал, взял за руку Аннету, подвел ее к портрету матери, освещенному ярким лучом рефлектора, и спросил, — Ну, разве это не поразительно? Герцогиня пришла в такое изумление, что, казалось, была

вне себя, и все повторяла:

— Господи! Да что же это? Господи! Да что же это? Вылитая Аннета! И подумать только, что я вошла и даже не заметила! Ах, милая Ани, я так и вижу вас снова — ведь я прекрасно знала вас в те времена, вы тогда в первый раз были в трауре, нет, второй раз: это уже было, когда вы лишились отца! А теперь в таком же черном платье Аннета! Да ведь это ее мать в молодости! Просто чудо! Если бы не портрет, никто бы не заметил! Ваша дочь очень похожа на вас, но гораздо больше она похожа на этот портрет!

Явился Мюзадье, узнавший о приезде графини де Гильруа; ему хотелось одним из первых выразить ей «свое глубочайшее сочувствие».

Увидев девушку, стоящую у портрета в том же ярком свете рефлектора и казавшуюся сестрой женщины, изображенной на портрете, он прервал свою речь.

— Это что-то необыкновенное! — воскликнул он.

Корбели, которые всегда со всеми соглашались, тоже выразили изумление, хотя и более сдержанно.

Сердце графини сжималось. Оно сжималось все сильнее и сильнее, словно возгласы удивления, которые она слышала от всех этих людей, давили на него, причиняя ему боль. Она молча смотрела на дочь, стоящую рядом с ее изображением, и в ней закипало раздражение. Ей хотелось крикнуть: «Да замолчите вы! Я прекрасно знаю, что она похожа на меня!» До конца вечера ее одолевала тоска — она снова теряла уверенность, которую обрела накануне.

Бертен болтал с нею, когда доложили о приходе маркиза де Фарандаля. Как только он появился и подошел к хозяйке дома, художник встал, проскользнул за ее креслом и, пробормотав: «Ну вот еще! Только этой скотины тут не хватало!» — окольным путем пробрался к двери и незаметно вышел.

Выслушав соболезнование нового гостя, графиня поискала глазами Оливье, чтобы продолжить с ним разговор, который интересовал ее. Так и не найдя его, она спросила:

— Как? Наш великий человек уже исчез? Муж ответил:

— Думаю, что да, дорогая; я сию секунду видел, что он ушел по-английски.

Она удивилась, на мгновение призадумалась и заговорила с маркизом.

Впрочем, из деликатности друзья вскоре удалились: после недавно постигшего ее несчастья графиня лишь приоткрыла двери своего дома.

И не успела она лечь в постель, как к ней снова вернулась тоска,

вернулась тревога, одолевавшая ее в Ронсьере Теперь все это становилось определеннее, она ощущала это отчетливее: она чувствовала, что стареет!

Сегодня вечером она впервые поняла, что в ее гостиной, где доселе восхищались только ею, восхваляли, носили на руках, любили только ее, место ее заняла другая — ее дочь! Она поняла это сразу, когда почувствовала, что все восторги относятся к Аннете.

Красивая женщина не допустит, чтобы ее затмевали в ее доме — в ее царстве, она заботливо, осторожно, но упорно будет изгонять из него всякого опасного противника, она впустит туда равных себе лишь затем, чтобы посмотреть, нельзя ли превратить их в своих вассалов, и вот теперь она ясно видела, что повелительницей в этом царстве становится ее дочь. Как странно сжалось ее сердце, когда глаза всех обратились к Аннете, которая стояла возле портрета и которую держал за руку Бертен! Она вдруг почувствовала, что ее изгнали, развенчали, свергли с престола Все смотрели на Аннету; на нее же никто и не взглянул. Она так привыкла выслушивать комплименты, подслащенные лестью, каждый раз, когда восхищались ее портретом, она так уверенно принимала хвалебные речи, которым не придавала никакого значения, но которые тем не менее приятно щекотали ее самолюбие, что теперь это всеобщее невнимание, эта неожиданная измена, это восхищение, сразу и всецело перенесенное на ее дочь, изумили ее, взволновали, задели за живое сильнее, чем какое бы то ни было иное поражение при каких бы то ни было иных обстоятельствах.

Но так как она принадлежала к тем натурам, которые при любом кризисе после первого момента подавленности оказывают сопротивление, борются и находят основания, чтобы утешиться, она подумала, что, как только ее милая дочурка выйдет замуж и они не будут больше жить под одной крышей, ей уже не придется переносить это непрерывное сопоставление, в присутствии ее друга начинавшее становиться для нее тягостным.

Потрясение оказалось, однако, чересчур сильным Ее лихорадило, и она почти не сомкнула глаз Утром она проснулась утомленная и разбитая, и тут у нее возникла непреодолимая потребность найти успокоение, поддержку, обратиться за помощью к кому-то, кто мог бы исцелить ее от всех этих несчастий, от всех страданий, физических и душевных.

Она действительно чувствовала себя так плохо, она была так слаба, что ей пришло в голову посоветоваться с врачом Кто знает, может быть, это начало серьезной болезни: ведь противоестественно в течение нескольких часов переходить то от отчаяния к спокойствию, то наоборот. Короче говоря, она приказала вызвать врача телеграммой и стала ждать его Он

приехал часам к одиннадцати Это был врач из числа видных светских врачей, ордена и звания которых служат гарантией их дарований, а умение жить заменяет основы знания и которые, принимаясь лечить женщин, главным образом находят нужные слова, что гораздо надежнее всяких лекарств.

Он вошел, поздоровался, взглянул на пациентку и с улыбкой сказал:

— Э, ничего страшного! С такими глазами, как у вас, серьезно заболеть невозможно Она преисполнилась благодарности к нему за такое начало и рассказала о своих недомоганиях, раздражительности, приступах хандры, а также — правда, стараясь не упираться на это, — о том, что порой плохо выглядит и что это ее беспокоит Внимательно выслушав ее жалобы, он задал ей только один вопрос — вопрос о том, каков у нее аппетит, — он, видимо, хорошо понимал природу этой тайной женской болезни; затем выслушал ее, осмотрел, особенно тщательно осмотрел плечи и кисти рук и, несомненно проникнув в ее сокровенную мысль, с проницательностью опытного практика, который сдергивает покровы со всех тайн, понял, что она советуется с ним не столько о своем здоровье, сколько о красоте, и сказал:

— Да, у вас анемия, да и нервы не в порядке. Это и не удивительно: вы только что пережили большое горе. Сейчас я пропишу вам рецептик, и все пройдет Но, самое главное, вам необходимо усиленное питание, нужно пить мясной сок, пить не воду, а пиво. Я укажу вам превосходную марку. Не переутомляйтесь, ложитесь пораньше и как можно больше ходите пешком: это очень важно. Побольше спите — вы немного пополнеете. Вот и все, что я могу вам посоветовать, прекрасная моя пациентка.

Она слушала его с большим интересом, стараясь разгадать все его недомолвки.

За его последние слова она ухватилась:

— Да, да, я похудела. Одно время я была полновата и, возможно, ослабела, сидя на диете.

— Вне всякого сомнения. Не страшно оставаться худым тому, кто всегда был таким, но если человек нарочно старается похудеть, это всегда происходит за счет чего-то другого. К счастью, это восстанавливается быстро. Всех благ, сударыня!

Она уже чувствовала себя лучше, бодрее; приказала, чтобы к завтраку сходили за пивом, пить которое предписал ей врач, на склад фирмы, — ей хотелось получить самое свежее.

Она вставала из-за стола, когда лакей впустил Бертена — Вот и опять я, — сказал он, — снова и снова я. Я пришел, чтобы кое о чем спросить вас.

Что вы сегодня делаете?

— Ничего, а что?

— А Аннета?

— Тоже ничего.

— Так не придете ли вы ко мне часа в четыре?

— Хорошо. А зачем?

— Я хочу сделать набросок для моей Мечтательницы — я уже говорил вам о ней и спрашивал, не может ли ваша дочь пожертвовать мне несколько деньков и попозировать. Я буду ей очень обязан, если она придет ко мне сегодня хоть на часок. Вы ничего не имеете против?

Графиня заколебалась: она была недовольна этой просьбой, сама не зная, почему. Тем не менее она ответила:

— Прекрасно, мой друг, в четыре часа мы будем у вас.

— Спасибо. Вы — воплощенная любезность. И он пошел готовить холст и обдумывать сюжет, чтобы не слишком утомлять свою натуру.

А графиня отправилась одна, пешком, за покупками. Она прошла по большим центральным улицам, потом медленно, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, вернулась на бульвар Мальзерб. Когда она проходила мимо церкви Блаженного Августина, ей захотелось войти туда и отдохнуть. Она толкнула обитую кожей дверь, с наслаждением вдохнула прохладный воздух просторного притвора, взяла стул и села.

Она была религиозна, как и многие парижанки. Она верила в бога без малейших сомнений, она не могла представить себе существование Вселенной без существования ее Творца. Но, смешивая, как и большинство людей, черты божества с природой созданной им материи, доступной ее зрению, она представляла себе Всевышнего почти человеком, судя о нем по тому, что знала о его творении, и у нее не было четкого представления о том, каким должен быть в действительности невидимый миру Создатель.

Она твердо верила в него, теоретически поклонялась ему и испытывала смутный страх перед ним, ибо, сказать по совести, его намерения, его воля были ей неизвестны — она почти не доверяла священникам: все они были для нее только крестьянскими сыновьями, уклоняющимися от воинской повинности. Ее отец, парижский буржуа, не внушил ей никаких религиозных правил, и до замужества она исполняла обряды довольно небрежно.

Новое положение более точно определило ее внешний долг по отношению к церкви, и она весьма исправно исполняла эти несложные обязанности.

Она была дамой-патронессой многочисленных, пользовавшихся громкой известностью детских приютов, никогда не пропускала воскресную обедню и подавала милостыню: для души — сама, для света — через аббата, викария ее прихода.

Она часто читала молитвы просто из чувства долга, как солдат стоит на часах у дверей генерала. Иногда потому, что у нее было тяжело на душе, особенно, если она боялась, что Оливье бросит ее. Не поверяя небу причины, по которой она к нему прибегает, она обращалась к богу точно к мужу, с наивным лицемерием прося у него помощи. Когда-то, после смерти отца, и уже совсем недавно — после смерти матери, у нее бывали бурные приливы религиозного чувства — тогда она страстно молилась и всей душой стремилась к Тому, кто хранит нас и утешает.

И вот сегодня, стоило ей случайно зайти в церковь, как она почувствовала, что ей необходимо помолиться, помолиться не о ком-то и не о чем-то, а о себе, только о себе — так, как однажды молилась она на могиле матери. Ей нужна была чья-то помощь, и теперь она взывала к богу подобно тому, как утром вызывала врача.

Она долго стояла на коленях в тишине церкви, время от времени нарушаемой звуком шагов. Потом, словно в сердце у нее раздался бой стенных часов, она вдруг очнулась от своих дум, вынула часики, вздрогнула, увидев, что скоро четыре, и быстро пошла за дочерью, которую Оливье наверняка уже ждал.

Они застали художника в мастерской: он рассматривал на полотне позу своей Мечтательницы. Он хотел в точности воспроизвести на картине то, что видел, гуляя с Аннетой в парке Монсо: бедную девушку, замечтавшуюся с раскрытой книгой на коленях. Он долго не мог решиться, какой ее сделать: красивой или некрасивой? Некрасивая была бы более характерна, вызывала бы больше мыслей и чувств, ее образ был бы более выразительным. Красивая будет пленительнее, от нее будет исходить больше очарования, она будет больше нравиться.

Желание написать этюд со своего юного друга положил конец его колебаниям. Мечтательница будет красивой, а стало быть, сможет осуществить свою поэтическую мечту, тогда как дурнушка обречена мечтать бесконечно и безнадежно.

Как только обе женщины вошли, Оливье, потирая руки, сказал:

— Ну, мадмуазель Нане, значит, будем работать вместе.

Графиня, казалось, была озабочена. Она села в кресло и принялась смотреть, как Оливье устанавливает железный садовый стул поближе к яркому дневному свету, который был ему нужен. Затем он открыл книжный

шкаф, поискал глазами книгу и, после некоторого колебания, спросил:

— Что читает ваша дочь?

— Господи, да все, что угодно! Дайте ей какой-нибудь томик Гюго.

— Можно — Легенду веков?

— Чудесно!

Он начал распоряжаться:

— Садись, малютка, сюда и возьми этот сборник стихотворений. Отыщи страницу... страницу триста тридцать шестую: там ты найдешь стихотворение Бедные люди. Углубись в чтение и читай как можно медленнее, слово за словом, как будто пьешь самое лучшее вино, постарайся опьянеть, постарайся растрогаться. Слушай, что будет говорить тебе твое сердце. Затем закрой книжечку, подними глаза, думай и мечтай. А я сейчас приготовлю свой рабочий инструмент.

Он отошел в угол и принялся смешивать на палитре краски, но, надавливая на свинцовые тюбики, из которых, извиваясь, полезли на дощечку тоненькие цветные змейки, время от времени оборачивался и смотрел на девушку, углубившуюся в чтение.

Сердце его сжималось, пальцы дрожали, он не соображал, что делает, и оттого, смешивая краски, перепутывал тона — такое непобедимое волнение внезапно накатило и овладело им при виде этого воскресшего прошлого, при виде этого явления, двенадцать лет спустя возникшего на том же самом месте.

Сейчас Аннета прекратила чтение и смотрела прямо перед собой. Подойдя к ней, он заметил, что из глаз ее выкатились две светлые капли и поползли по щекам. Он вздрогнул — это было такое сильное потрясение, когда человек уже не владеет собой, — и обернулся к графине.

— Боже, как она хороша! — прошептал он, но так и замер: его поразило бледное, искаженное лицо графини де Гильруа.

Широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрела она на дочь и на него. Охваченный беспокойством, он подошел к ней и спросил:

— Что с вами?

— Мне надо сказать вам несколько слов. Она поднялась и быстро проговорила, обращаясь к Аннете:

— Подожди минуточку, детка, я должна кое-что сказать господину Бертену.

Она быстрым шагом прошла в соседнюю маленькую гостиную, где он часто заставлял посетителей ждать. Он последовал за нею, не понимая, в чем дело; в голове у него помутилось. Как только они оказались наедине, она схватила его за руки и пролепетала:

— Оливье, Оливье, умоляю вас, не заставляйте ее больше позировать!

— Да почему? — в смятении прошептал он.

— Почему?

Почему? — лихорадочно заговорила она. — Он еще спрашивает! Значит, сами вы не чувствуете, почему? Мне следовало бы догадаться об этом раньше, а я поняла только теперь... Сейчас я ничего не могу вам сказать... ничего... Пройдите к моей дочери. Объясните ей, что мне стало плохо, пошлите за извозчиком, а через час приезжайте ко мне, и мы поговорим. Мы будем одни!

— Да что с вами наконец?

Казалось, она сию секунду забьется в истерическом припадке.

— Оставьте меня. Здесь я не хочу говорить об этом. Пройдите к моей дочери и пошлите за извозчиком. Он вынужден был подчиниться ей и вернуться в мастерскую. Ничего не подозревавшая Аннета снова углубилась в чтение, и грустная поэтическая повесть наполнила ее сердце печалью.

— Твоей матери нездоровится. — сказал Оливье. — Когда она вошла в гостиную, ей едва не сделалось дурно. Пойди к ней. Я сейчас принесу эфир.

Он сбегал в спальню за флаконом и вернулся в гостиную.

Он застал их плачущими в объятиях друг у друга. Аннета, растроганная историей Бедных людей, дала выход своему чувству, а графиня несколько успокоилась, когда ее горе слилось с этой тихой грустью и ее слезы слились со слезами дочери.

Некоторое время он смотрел на них, не решаясь заговорить и тоже томясь какою-то непонятной тоскою.

— Ну как? Лучше вам? — наконец, спросил он.

— Да, немного лучше, — отвечала графиня. — Это пустяки. Вы послали за каретой?

— Да, сейчас будет — Спасибо, друг мой. Это пустяки. В последнее время я очень горевала.

— Карета подана! — вскоре доложил слуга. Бертен, полный затаенной тревоги, проводил свою бледную, все еще близкую к обмороку подругу, держа ее под руку и чувствуя, как бьется под корсажем ее сердце.

Оставшись один, он спросил себя: «Да что с ней такое? Почему с ней случился припадок?» Он искал ответа, ходя вокруг да около истины, но не решаясь открыть ее. Наконец он приблизился к ней «Так вот оно что! — сказал он себе. — Неужели она думает, что я решил приволокнуться за ее дочерью? Нет, это было бы слишком!» Опровергая это предположение

доводами разума и чести, он возмущался, что она могла хоть на миг принять его вполне нормальную, почти отеческую привязанность к этой девочке хотя бы за видимость ухаживания. Он уже злился на графиню как она посмела заподозрить его в подобной гнусности, в такой беспримерной подлости? Он дал себе слово не стесняться в выражениях своего возмущения, когда начнет разговор с графиней де Гильруа.

Вскоре он вышел из дому и направился к ней: ему не терпелось объясниться с нею. Всю дорогу он с возрастающей злобой готовил аргументы и фразы, которые должны были оправдать его и отплатить ей за подозрения.

Он застал ее лежащей на кушетке; лицо ее было искажено страданием.

— Ну-с, дорогой друг, — сухо сказал он, — объясните мне эту странную сцену.

— Как, вы еще не поняли? — спросила она прерывающимся от волнения голосом.

— Признаюсь, нет.

— Вот что, Оливье: загляните в свое сердце.

— В сердце?

— Да, и поглубже.

— Не понимаю! Выскажите яснее.

— Загляните в самую глубину своего сердца и посмотрите, нет ли там чего-нибудь опасного и для вас, и для меня.

— Еще раз говорю: я не понимаю. Догадываюсь, что есть что-то в вашем воображении, но у меня на совести нет ничего!

— Я говорю не о вашей совести, я говорю о вашем сердце!

— Я не умею отгадывать загадки. Скажите, пожалуйста, прямо, в чем дело.

Она взяла художника за руки и, не выпуская их, заговорила так, будто каждое слово разрывало ей душу:

— Берегитесь, мой друг, вы можете влюбиться в мою дочь Он отстранился и, размахивая руками, с горячностью невинного, опровергающего позорное обвинение, с возрастающим волнением стал защищаться и напал на нее за то, что она могла заподозрить его в такой подлости Он произнес целую речь, она не перебивала его, но потом, так и не поверив ему, убежденная в своей правоте, заговорила:

— Да я ни в чем и не обвиняю вас, мой друг Вы сами не знаете, что происходит у вас в душе, как не знала этого и я еще сегодня утром Вы говорите со мной так, как будто я заподозрила вас в желании соблазнить Аннету О нет, нет! Я знаю, что вы порядочный человек, знаю, что вы

заслуживаете всяческого уважения и доверия Я только прошу вас, я умоляю вас заглянуть в глубину вашего сердца и посмотреть: только ли дружеское чувство вы бессознательно начали питать к моей дочери?

Он рассердился и, волнуясь все сильнее и сильнее, снова начал доказывать, что он порядочный человек, как только что доказывал это самому себе по дороге сюда Она подождала, пока он кончит, потом, без гнева, но не поколебавшись в своем убеждении, страшно бледная, тихо заговорила Оливье! Я прекрасно знаю все, что вы можете мне сказать, и думаю то же, что и вы Но я уверена, что не ошибаюсь. Выслушайте меня, обдумайте и поймите Моя дочь слишком похожа на меня, она точь-в-точь такая же, какой была я в те времена, когда вы меня полюбили, — вот почему вы непременно полюбите и ее — Итак, — воскликнул он, — вы осмеливаетесь бросить мне в лицо подобный упрек на основании одного лишь предположения и смехотворных рассуждений — он меня любит, моя дочь похожа на меня, значит, он полюбит и ее?

Аидя, что графиня все больше меняется в лице, он продолжал мягче — Вот что, дорогая Ани: эта девочка мне так нравится именно потому, что в ней я вновь обретаю вас. Вас и только вас я люблю, когда гляжу на нее — Да, и именно поэтому я и начинаю страдать так сильно, это-то и приводит меня в ужас. Вы еще не разобрались в своем чувстве. Пройдет немного времени, и вы перестанете заблуждаться.

— Ани! Уверяю вас, что вы сходите с ума — Вам нужны доказательства?

— Да.

— Три года вы не приезжали в Ронсьер, как я вас ни просила Но когда вам предложили съездить туда за нами обеими, вы помчались сломя голову.

— Ах, вот как! Вы упрекаете меня в том, что я не оставил вас там одну, зная, что вы заболели после смерти матери!

— Пусть так. Не настаиваю. Но вот другой пример: ваша потребность видеть Аннету так велика, что вы не могли пропустить сегодняшний день и попросили меня привезти ее к вам под предлогом работы.

— А вам не приходит в голову, что я хотел видеть вас?

— В эту минуту вы возражаете самому себе, вы хотите убедить самого себя, но меня вы не обманете. Слушайте дальше Почему позавчера вечером вы так внезапно ушли, когда пришел маркиз де Фарандаль? Вам это ясно?

Ошеломленный, встревоженный, обезоруженный этим замечанием, он замялся.

— Но... право, не знаю — медленно заговорил он — Я очень устал, и к тому же, сказать по правде, этот дурак действует мне на нервы.

— С каких это пор?

— С давних.

— Простите, но я сама слышала, как вы его хвалили. Прежде он вам нравился. Будьте искренни до конца, Оливье.

Он призадумался, потом, подыскивая слова, ответил:

— Да, возможно, что мое глубокое чувство к вам заставляет меня так любить всех, кто вам близок, что я изменил свое мнение об этом ничтожестве; мне все равно, что я буду встречаться с ним время от времени, но мне было бы неприятно почти ежедневно видеть его у вас.

— Дом моей дочери не будет моим домом. Но довольно об этом! Мне известна ваша прямота. Я знаю: вы хорошенько обдумаете то, что я вам сейчас сказала. А когда обдумаете, то поймете, что я предупредила вас о серьезной опасности, которой еще не поздно избежать. И теперь вы будете осторожны. А сейчас давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Он не возражал; ему стало не по себе, он растерялся, он чувствовал, что ему, в самом деле, необходимо поразмыслить. И, с четверть часа поговорив о том о сем, ушел.

Глава 4

Медленно возвращался Оливье к себе домой, подавленный так, словно только что узнал какую-то позорную семейную тайну. Он старался исследовать свое сердце, увидеть его отчетливо, прочесть те интимные страницы книги о жизни души, которые, кажется, склеились одна с другой, так что иной раз лишь чья-то чужая рука способна разрезать их и перевернуть. Конечно, он не верил тому, что влюблен в Аннету! Графиня, недоверчивая ревность которой все время была настороже, почуяла еще не существующую опасность и забила тревогу прежде, нежели она возникла. Но не может ли эта опасность возникнуть завтра, послезавтра, через месяц? На этот-то прямо поставленный вопрос он и пытался дать себе прямой ответ. Да, правда, малютка пробуждает в нем чувство нежности, но ведь в мужчине этих чувств так много, что не надо смешивать грозящие бедой с безобидными. Вот, например, он очень любит животных, особенно кошек, он не может спокойно видеть их шелковистую шерстку: его сейчас же охватывает непреодолимое, чувственное желание погладить и гибкую, нежную спинку, поцеловать их мех, из которого сыплются электрические искры. Чувство, влекущее его к юной девушке, отчасти было схоже с этими подсознательными, невинными желаниями, рождаемыми непрерывной и неослабевающей вибрацией человеческих нервов. Его взор, взор художника и мужчины, был очарован ее свежестью, очарован этим побегом прекрасной, чистой жизни, этой пылкостью искрящейся молодости, необыкновенное сходство Аннеты с матерью пробудило в его сердце, полном воспоминаний о долговременной связи с графиней, отзвуки бывшего чувства, чувства задремавшего, когда миновала начальная пора его любви, и, быть может, оно чуть дрогнуло в миг пробуждения. Пробуждения? Да, конечно! Эта мысль озарила его У него было такое ощущение, будто он пробудился от многолетней спячки. Если бы он, сам того не подозревая, полюбил малютку, он испытывал бы близ нее то обновление всего существа, которое совершенно преображает человека с того мгновенья, когда в нем вспыхнет пламя новой страсти. Нет, этот ребенок раздул в нем прежний огонь! Он продолжал любить одну лишь мать, но теперь, несомненно, любил сильнее благодаря ее дочери, благодаря ее возрождению в ней. Он сделал этот вывод, прибегнув к следующему успокоительному софистическому рассуждению: мы любим только раз! Но сердце часто может ощущать волнение при встрече с другим существом,

ибо каждое из них либо притягивает, либо отталкивает каждого из нас. Из всех этих флюидов возникают дружба, прихоть, жажда обладания, сильные, хотя и мимолетные вспышки какого-то чувства, но отнюдь не настоящая любовь. Настоящая любовь требует, чтобы два человека были рождены друг для друга, чтобы они сходились во взглядах, во вкусах, в характерах, чтобы их объединяла духовная и физическая близость, чтобы они были так тесно связаны, что составляли бы уже единое целое. Ведь в сущности, мы любим не столько г-жу Икс или г-на Зет, сколько женщину или мужчину, некое безымянное создание, сотворенное Природой, этой великой самкой, создание, обладающее такими инстинктами, формами, сердцем, складом ума, всей повадкой, что оно, словно магнитом, притягивает наши инстинкты, глаза, губы, сердце, мысль, все наши стремления, духовные и чувственные. Мы любим некий тип, то есть соединение в одном человеке всех свойств, которые могут порознь прельщать нас в разных людях.

Для него таким типом была графиня де Гильруа, и неопровержимым доказательством тому была для него продолжительность их связи, которая ему не наскучила. Аннета же физически до такой степени походила на свою мать в молодости, что окружающих обманывало зрение, стало быть, нет ничего удивительного в том, что его сердце, сердце мужчины, позволило заставить себя врасплох, хотя и не позволило себе увлечься. Он обожал другую женщину! От нее родилась эта, почти такая же. И он действительно не смог удержаться и перенес на вторую женщину какую-то частицу нежности, оставшейся от той страстной привязанности, которую он некогда питал к первой. Но в этом нет ничего дурного, в этом нет ни малейшей опасности. Лишь его зрение и память поддались иллюзии этого кажущегося возрождения, но чувство не поддалось обману: ведь ни разу не испытал он по отношению к девушке ни малейшего волнующего желания.

Однако графиня упрекнула его в том, что он ревнует ее к маркизу. Правда ли это? Он опять подверг свою совесть суровому допросу и понял, что, в самом деле, немного ревнует. А впрочем, что тут удивительного? Разве не ревнуем мы постоянно ко всем мужчинам, которые ухаживают за первой попавшейся женщиной? Разве не испытываем мы на улице, в театре, в ресторане некоей враждебности к господину, который идет или входит под руку с красивой девушкой? Всякий, кто обладает женщиной, — наш соперник. Это удовлетворенный самец, это победитель, и другие самцы ему завидуют. К тому же (если не забираться в дебри физиологии), коль скоро нет ничего нездорового в симпатии, которую он питает к Аннете, — правда, симпатии, несколько повышенной, благодаря его любви к матери, — то разве не столь же естественно, что в нем может проснуться

и какая-то животная злоба к ее будущему мужу? Он без труда преодолеет в себе это низменное чувство.

И все же в глубине его души оставалась горечь — он был недоволен графиней и самим собой. Не испортит ли их повседневные отношения подозрительность, которую он, возможно, почувствует в ней? И не придется ли ему строго, с утомительным вниманием следить за каждым своим словом, за каждым поступком, взглядом, за любой мелочью в отношениях с девушкой, ибо все, что бы он ни сделал и что бы ни сказал, может показаться матери подозрительным?

Домой он пришел в плохом настроении и стал курить папиросу за папиросой с раздражительностью всплывшего человека, который тратит десяток спичек, чтобы зажечь одну папиросу. Напрасно пытался он поработать. Его рука, глаз и мысль, казалось, отвыкли от живописи, они словно забыли о ней, словно никогда в жизни не знали, что это за ремесло, и никогда им не занимались. Он взялся было за начатую картинку, которую хотел закончить, — слепого, поющего на углу улицы, — но смотрел он на нее с глубоким равнодушием, чувствуя, что не в силах продолжать работу, и, усевшись перед полотном с палитрой в руке, забыл о нем, по-прежнему пристально глядя на него невидящими глазами.

Внезапно его стала терзать нестерпимая, едкая досада на то, что время не движется, что минутам нет конца. Обедать он пойдет в клуб, но что он будет делать до обеда, если он не в состоянии работать? Стоило ему подумать об улице, как он уже чувствовал усталость и преисполнялся отвращением к тротуарам, прохожим, каретам и лавкам, а мысль о том, чтобы сделать сегодня визиты, хотя бы один визит, — все равно к кому, — мгновенно всколыхнула в нем ненависть ко всем знакомым без исключения.

Но что же тогда делать? Расхаживать взад и вперед по мастерской, при каждом повороте взглядывая на часы, стрелка которых передвинулась еще на несколько секунд? Ах, как хорошо знаком ему этот маршрут от дверей до шкафчика, заставленного безделушками! В часы воодушевления, подъема, вдохновения, когда работалось успешно и легко, эти хождения по просторной, повеселевшей, оживившейся, согретой дыханием труда комнате были восхитительным отдыхом, но в часы бессилия и отвращения, в трагические часы, когда ему казалось, что на свете нет такого дела, ради которого стоило бы ударить пальцем о палец, они превращались для него в ненавистные арестанту прогулки по каземату. Если бы ему удалось хотя бы поспать часок тут, на диване! Но нет, он не заснет, он будет ворочаться до нервного озноба. Откуда же этот внезапный приступ черной меланхолии?

«Видно, нервы у меня в чудовищном состоянии, если какой-то пустяк приводит меня в такое настроение», — подумал он.

Тут ему пришло в голову, что можно ведь почитать. Томик с Легендой веков все еще лежал на том самом железном стуле, где его оставила Аннета. Он раскрыл книгу, прочитал две страницы и ничего не понял. Не понял, словно стихи были написаны на чужом языке. Он рассердился, начал читать снова и окончательно убедился, что он в самом деле не в силах вникнуть в их смысл. «Ну, кажется, я рехнулся», — сказал он себе. Внезапно, словно по наитию свыше, его успокоила мысль о том, как убить два часа до обеда. Он велел приготовить ванну и пролежал в теплой воде, размягченный и успокоенный, до тех пор, покамест камердинер, который принес ему белье, не вывел его из дремоты. Одевшись, он отправился в клуб, где, как обычно, собрались его приятели. Его встретили с распростертыми объятиями и с восклицаниями: ведь его не видели уже несколько дней.

— Я вернулся из деревни, — сказал он.

Все эти люди, не считая пейзажиста Мальдана, питали к сельской жизни глубокое презрение. Правда, Рокдиан и Ланда ездили на охоту, но в полях и лесах им нравилось только одно: смотреть, как от их выстрела комком перьев падает на землю фазан, перепел или куропатка, как раз пять-шесть перекувыркнется, словно клоун, подстреленный кролик, у которого всякий раз при этом мелькает клочок белой шерсти на хвостике. А кроме этих осенних и зимних удовольствий, все остальное в деревне казалось им невыносимо скучным.

— На мой вкус, молодая женщина лучше молодой зелени, — говаривал Рокдиан.

Обед, как обычно, прошел шумно и весело, его оживляли всегда одни и те же споры. Чтобы стряхнуть с себя апатию, Бертен говорил много. В нем заметили что-то странное; выпив кофе и сыграв шестьдесят очков на бильярде с банкиром Ливерди, он распрощался, побродил между ев Магдалиной и улицей Тебу, три раза прошелся мимо Водевиля, размышляя, не зайти ли ему туда, чуть было не сел на извозчика, чтобы поехать на ипподром, но передумал и направился к Новому цирку, затем круто повернул и бесцельно, бездумно, сам не зная зачем, поднялся по бульвару Мальзерб и замедлил шаг, подходя к дому графини де Гильруа. «А не покажется ей странным, что я снова зайду сегодня вечером?» — мелькнула у него мысль. Но он успокоил себя соображением, что нет ничего удивительного в том, что он вторично наведается узнать о ее здоровье.

Она была вдвоем с Аннетой в маленькой гостиной и по-прежнему

вязала одеяло для бедняков.

Увидев его, графиня не удивилась.

— Ах, это вы, мой друг! — сказала она.

— Да, я волновался, и мне захотелось вас увидеть. Как вы себя чувствуете?

— Ничего, спасибо...

Помолчав несколько минут, она прибавила с запинкой:

— А вы?

С искренним смехом он ответил:

— О, превосходно, просто превосходно! Ваши опасения не имели и тени оснований.

Положив вязанье на колени, она медленно подняла глаза и остановила на нем горящий взор, в котором были и сомнение, и мольба.

— Истинная правда, — сказал он.

— Ну вот и хорошо, — отвечала она с улыбкой, в которой было что-то не совсем естественное.

Он сел, и впервые в этом доме на него навалилась неотвязная тоска; он ощутил что-то вроде паралича мысли, еще более тяжелого, чем тот, который хватил его днем перед мольбертом.

— Можешь продолжать, детка, это ему не мешает, — сказала графиня дочери.

— А что она делала? — спросил он.

— Разучивала одну фантазию.

Аннета встала и направилась к роялю. Он, как всегда, бессознательно следил за ней и думал о том, как она красива. Но тут он почувствовал на себе взгляд матери и отвернулся, словно ища что-то в темном углу гостиной.

Графиня взяла с рабочего столика маленький золотой портсигар, подаренный ей Оливье, раскрыла и протянула ему:

— Курите, друг мой. Вы же знаете: я люблю это, когда мы здесь одни.

Он закурил, и тут запел рояль. Это была музыка в старинном вкусе, изящная и легкая; кажется, что такого рода музыку навевают композитору весенний теплый лунный вечер.

— Чье это? — спросил Оливье.

— Шумана, — отвечала графиня. — Это пьеса не очень известная, но очаровательная.

Его желание взглянуть на Аннету все росло, но у него не хватало смелости. Надо было лишь чуть повернуться, чуть повернуть голову, — ему видны были сбоку огненные фитили свечей, освещавших ноты, — но

он так прекрасно разгадывал, так ясно видел подстерегающее внимание графини, что сидел неподвижно, подняв глаза и глядя перед собою, и, казалось, с интересом следил за серой струйкой табачного дыма.

— Это все, что вы можете мне сказать? — прошептала графиня. Он улыбнулся.

— Не надо на меня сердиться. Вы же знаете, что музыка гипнотизирует меня и поглощает все мои мысли. Мы поговорим после.

— А знаете, — сказала она, — ведь я что-то разучила для вас еще до маминой смерти. Вы этого еще не слышали, сейчас девочка доиграет, вот увидите, как это оригинально!

У нее был настоящий талант и тонкое понимание чувства, выраженного в звуках. Можно сказать даже, что в ее арсенале это было одно из самых могущественных средств воздействия на впечатлительного художника.

Когда Аннета исполнила Пасторальную симфонию Мегюля, а графиня заняла ее место, полилась причудливая мелодия, пробужденная ее пальцами, мелодия, фразы которой казались жалобами, новыми, беспрестанно меняющимися, бесконечными жалобами, прерывающимися одной нотой, и эта все время повторяющаяся нота врывалась в тему, разрубая ее, разбивая, разрывая, как монотонный, несмолкаемый, преследующий вас вопль, как неотступный, точно наваждение, призыв.

Но Оливье смотрел на Аннету, сидевшую напротив него, и ничего не слышал, ничего не понимал.

Он смотрел на нее, ни о чем ни думая, он пожирал ее глазами, словно это было что-то привычное и отрадное, чего он какое-то время был лишен, и теперь упиться этим ему было так же необходимо, как голодному — поест.

— Ну как? — спросила графиня — Правда, чудесно?

— Восхитительно, великолепно! — очнувшись, воскликнул он — Чье это?

— Вы не знаете?

— Нет.

— Как, вы не знаете? Вы?

— Да нет, не знаю!

— Это Шуберт.

— Это меня нисколько не удивляет, — с глубокой искренностью сказал он. — Великолепно! Будьте добры, сыграйте еще раз!

Она снова заиграла, а он, повернув голову, снова залюбовался Аннетой, но слушал и музыку, чтобы вкушать оба наслаждения

одновременно.

Когда же графиня де Гильеуа вернулась на свое место, он, движимый врожденным мужским двуличием, моментально отвел пристальный взор от белокурой головки девушки, которая вязала, сидя напротив матери, по ту сторону лампы.

Но, и не глядя на нее, он вкушал сладость ее присутствия, — так ощущаем мы близость теплого очага, — и ему не давало покоя желание скользнуть по ней быстрым взглядом и тотчас же перевести его на графиню, — так школьника тянет влезть на окно, едва отвернется учитель.

Он ушел рано — он был не в состоянии не только думать, но и говорить, и его упорное молчание могло быть превратно истолковано.

Едва он очутился на улице, как ему захотелось прогуляться: всякий раз, когда он слушал музыку, она потом долго еще звучала в его внутреннем слухе и погружала его в грезы, которые, казалось, были продолжением мелодии, продолжением, преображенным мечтою и еще более ярким. Мотив пьесы, прерывающийся и беглый, возвращался к нему, принося с собой отдельные, утратившие свою звучность, отдаленные, как эхо, такты, затем умолкал, как бы предоставляя сознанию осмыслить напев и унести ввысь в поисках некоего идеала, нежного и гармоничного. Увидев свет от феерии парка Монсо, он повернул налево, на внешний бульвар, и вошел в главную аллею парка, делавшую круг под электрическими лунами. Медленно брел сторож, порой проезжал запоздалый фиакр, какой-то человек читал газету, сидя на скамейке в голубоватых струях яркого света у подножия бронзового столба со сверкающим шаром. На лужайках, среди деревьев, другие фонари разливали по листве и по газонам холодное, ослепительное сияние, вдыхая слабую жизнь в этот большой городской сад.

Заложив руки за спину, Бертен шел по аллее, вспоминая свою прогулку с Аннетой в этом самом парке, когда впервые услышал исходившие из ее уст звуки голоса ее матери.

Он опустил на скамейку, дыша свежими испарениями недавно политых лужаек, и вдруг на него нахлынуло то чувство страстного ожидания, которое превращает юношескую душу в канву для самых неожиданных узоров нескончаемого любовного романа. В былые времена ему были знакомы такие вечера, когда он давал волю своей безудержной фантазии, и она свободно странствовала среди воображаемых приключений; теперь он был удивлен, что к нему вернулись эти чувства, уже не свойственные его возрасту.

Но, подобно упрямо звучащей ноте в мелодии Шуберта, мысль об

Аннете, ее склоненная под лампой головка, странное подозрение графини, — все это не покидало его ни на минуту. Он невольно то и дело возвращался к этому, стараясь заглянуть в непроницаемые глубины сердца, где зарождаются человеческие чувства. Это упорное исследование взволновало его, эта неотвязная дума о девушке, казалось, открывала его душе путь к воздушным мечтам; он уже не мог изгнать Аннету из памяти, он нес в себе ее образ — так в былые времена, когда графиня уходила, у него оставалось странное ощущение ее присутствия в его мастерской.

Негодую на власть воспоминаний, он прошептал, вставая со скамейки:

— Ани поступила глупо, сказав мне об этом Из-за нее я теперь буду думать о малютке.

Он вернулся домой в тревоге за себя. Когда он лег в постель, он понял, что заснуть ему не удастся — по его жилам бежал огонь; как бродящий сок, возбуждала его сердце мечта. Страшась бессонницы, изнурительной бессонницы, которую вызывает смятение души, он попытался взяться за книгу. Сколько раз непродолжительное чтение заменяло ему снотворное! Он встал и прошел в библиотеку, чтобы выбрать какую-нибудь хорошую, быстро усыпляющую книгу, но его дух, бодрствовавший против его воли, жаждал потрясений и искал на полках имя такого писателя, который соответствовал бы нервному состоянию ожидания. Бальзак, которого он обожал, не говорил ему ничего; он отверг Гюго, пренебрег Ламартином, который обычно умилял его, и жадно ухватился за Мюссе, кумира молодежи. Он взял один из его томов и унес в спальню, решив начать чтение с той страницы, на которой раскроется книга.

Снова улегшись, он, точно пьяница — вином, начал упиваться легкими стихами вдохновенного певца, который, как птица, воспевал зарю жизни и который, так как у него хватало дыхания только на утро, умолк перед грубым наступлением дня, — поэта, но прежде всего человека, опьяненного жизнью, изливавшего свое опьянение в звонких и наивных трубных звуках любви и отвечавшего этими звуками всем обезумевшим от страсти юным сердцам.

Никогда еще так остро не ощущал Бертен чувственное очарование этих стихов, которые волнуют душу и которые едва касаются рассудка. Он не отрывал глаз от трепетных строк, и ему казалось, что душе его двадцать лет, что она окрылена надеждами; он прочел почти весь том в каком-то юношеском упоении. Пробыло три часа, и он удивился, что ему еще не хочется спать. Он встал, чтобы закрыть окно и положить книгу на стол, стоявший посреди комнаты, но боль не оставляла его, несмотря на пребывание на водах в Эксе, и от холодного ночного ветра пронизала его

поясницу как напоминание, как предостережение, и он со злобой отшвырнул Мюссе и прошептал:

— Старый дурак!

Затем лег и потушил свечу.

На другой день он не пошел к графине и принял твердое решение появиться там не ранее, чем послезавтра. Но что бы он ни делал — пробовал ли поработать, отправлялся ли на прогулку, ходил ли со своей тоской по знакомым, — всюду его преследовала навязчивая мысль об этих двух женщинах.

Запретив себе идти к ним, он облегчал душу, думая о них, и позволял своему уму, своему сердцу упиваться воспоминаниями. И нередко случалось так, что в этих грезах наяву, которыми он убаюкивал свое одиночество, эти два разных лица, какими он знал их, сближались, потом наплывали одно на другое, сходились, сливались, и тогда возникало одно, как бы подернутое дымкой; это было уже не лицо матери, но и не совсем еще лицо дочери, — это было лицо женщины, безумно любимой им когда-то, любимой ныне, любимой вечно.

Он упрекал себя за то, что поддается этим нежным чувствам, силу и опасность которых он понимал. Чтобы избавиться от них, отбросить, освободиться от этого пленительного и сладостного сновидения, он пытался обратиться к иным предметам, дающим пищу воображению, темам для размышлений и всевозможным областям мысли. Напрасные усилия! Все пути, по которым он пытался направить свой ум, возвращали его туда, где опять возникала юная белокурая головка, словно притаившаяся в ожидании его. Это было неотвязное наваждение, парившее над ним, реявшее вокруг него и не отпускавшее его, несмотря на все уловки, к которым он прибегал, чтобы избавиться от него.

Эти два существа, сливавшиеся друг с другом, что так взволновало его в тот вечер, когда они гуляли в парке Ронсьера, снова воскресали в его памяти, едва лишь он переставал рассуждать и разубеждать себя, и он снова представлял их себе, силясь понять, что за странное ощущение волнует его. «Неужели моя привязанность к Аннете выходит за пределы дозволенного?» — спрашивал он себя. Копаясь в своей душе, он понимал, что пылает страстью к некоей совсем молодой женщине, у которой были все черты Аннеты, но это была не Аннета. И трусливо успокаивал себя мыслью:

«Нет, я не люблю девочку, я жертва ее сходства с матерью».

Однако два дня, проведенные в Ронсьере, по-прежнему оставались в его душе источником тепла, счастья и упоения; малейшие подробности

возникали в его памяти одна за другой, еще более яркие, еще более милые сердцу, чем тогда Следуя за своей памятью, уводившей его назад, он внезапно вновь видел дорогу, по которой они шли, возвращаясь с кладбища, видел девушку, которая рвала цветы, и вдруг вспомнил, что обещал ей василек из сапфиров, как только они вернутся в Париж.

Все его благие намерения разом улетучились, и, отказавшись от дальнейшей борьбы с собой, он взял шляпу и вышел из дому, глубоко взволнованный мыслью об удовольствии, которое он ей доставит.

Когда он попросил доложить о себе господам Гильруа, лакей ответил.

— Барыни нет, а барышня дома Он ощутил жгучую радость.

— Доложите ей, что я хочу с ней поговорить И легко, словно боясь, что его услышат, проскользнул в гостиную.

Почти в ту же минуту появилась Аннета.

— Здравствуйте, дорогой маэстро, — с важностью сказала она.

Он засмеялся, пожал ей руку и сел рядом с ней.

— Угадай, зачем я пришел?

— Не знаю, — после секундного размышления отвечала она — Чтобы повезти вас с мамой к ювелиру и выбрать василек из сапфиров, который я обещал тебе в Ронсьере.

Лицо Аннеты озарилось счастьем.

— Ах, боже мой, а мамы нет дома! — воскликнула девушка. — Но она сейчас вернется! Ведь вы подождете ее, не правда ли?

— Да, если это будет не слишком долго.

— Ах, какой дерзкий! Слишком долго, когда здесь я! Вы считаете, что я еще маленькая!

— Нет, — отвечал он, — не такая уж маленькая, как ты думаешь.

Он чувствовал, что его сердце полно желанием нравиться, быть обворожительным и остроумным, как в самые пылкие мгновения его юности, — одним из тех инстинктивных желаний, которые тысячекратно увеличивают все наши возможности обольщать и заставляют павлинов распускать хвост, а поэтов — сочинять стихи. Слова приходили к нему на язык легко и быстро, и он говорил так, как умел говорить, когда бывал в ударе. Девочка, заразившись его воодушевлением, отвечала ему со всем тем лукавством, со всем тем игривым остроумием, которые созревали в ней.

Вдруг, возражая ей на что-то, он воскликнул:

— Но ведь я часто это от вас слышал, и я отвечал вам...

— Как? Вы больше не говорите мне «ты»? — со смехом перебила она. — Вы принимаете меня за маму!

— Знаешь, твоя мать уже сотни раз твердила мне об этом! —

покраснев, пробормотал он.

Красноречие его иссякло; теперь он не знал, о чем говорить, и ему стало страшно, необъяснимо страшно в присутствии этой девочки.

— А вот и мама, — сказала она.

Она услышала, как отворилась дверь в большой гостиной, и Оливье, смутившись, словно его застали на месте преступления, стал объяснять, что он вдруг вспомнил свое обещание и заехал за ними, чтобы всем вместе отправиться к ювелиру.

— У меня двухместная карета, — сказал он. — Я примощусь на откидном сиденье. Они сели в экипаж и через несколько минут были у Монтара.

Художник всю жизнь провел в тесном общении с женщинами, наблюдал, познавал, любил их, всегда был занят ими, ему приходилось изучать и узнавать их вкусы, и он начал не хуже их разбираться в туалетах, в вопросах моды, во всех мельчайших деталях их частной жизни и даже нередко разделял некоторые их пристрастия, а входя в магазины, где продаются прелестные, изящные предметы, оттеняющие их красоту, он получал почти такое же удовольствие, ощущал почти такой же радостный трепет, как и они. Подобно им, он интересовался всеми кокетливыми пустячками, которыми они себя украшают; ткани радовали его глаз, ему хотелось пощупать кружева, его внимание привлекали самые незначительные элегантные вещицы. Перед витринами ювелирных магазинов он испытывал чувство, близкое к религиозному, словно перед храмом соблазнительной роскоши, а обитый темным сукном прилавок, на котором ловкие пальцы золотых дел мастера рассыпали драгоценные камни, переливавшиеся разноцветными огнями, внушал ему особое почтение.

Усадив графиню и ее дочь перед этим строгим столом, на который и та и другая непринужденно положили руки, он объяснил, что ему нужно, и ему начали показывать образчики цветков.

Потом перед ними разложили сапфиры, из которых надо было выбрать четыре. Это заняло много времени. Обе женщины кончиком ногтя переворачивали их на сукне, осторожно брали в руки, рассматривали с вниманием и со страстью знатоков. Потом, когда выбранные камни были отложены, понадобилось еще три изумруда для листочков, потом — крошечный бриллиантик, чтобы он искрился в чашечке цветка, подобно капле росы.

Оливье опьяняла радость сознания, что он делает подарок.

— Доставьте мне удовольствие и выберите два кольца, — сказал он

графине.

— Кто, я?

— Да! Одно для вас, другое для Аннеты! Позвольте мне сделать вам этот маленький подарок на память о двух днях, проведенных в Ронсьере.

Она отказывалась Он настаивал. Последовал длительный спор, борьба доводов и аргументов, из которой в конце концов он, хотя и не без труда, вышел победителем.

Принесли кольца: одни, наиболее редкостные, лежали в отдельных, особой выделки футлярах; другие, подобранные по сортам, в больших квадратных коробках, разбрасывали по бархату самые причудливые формы своих оправ. Художник сел между двумя дамами и вместе с ними, с таким же жадным любопытством, принялся вынимать золотые перстни из узких углублений, в которые они были вставлены. Затем раскладывал их перед собой, на сукне прилавка, и они образовали две группы: в одной были отвергнутые с первого взгляда, в другой — те, из которых можно было выбирать.

Незаметно и приятно проходило время за этим увлекательным занятием: выбор — это величайшее удовольствие из всех возможных, это так же интересно и разнообразно, как любимое зрелище, это волнующее, почти чувственное, изысканное наслаждение женского сердца.

Потом они сравнивали, горячились, и, после некоторого колебания, выбор трех судей остановился на золотой змейке, державшей красивый рубин между узенькой пастью и извивающимся хвостом.

Сияющий Оливье встал.

— Оставляю вам мою карету, — сказал он. — Мне надо побывать еще в нескольких местах; я пошел.

Но Аннета попросила мать пройти до дома пешком: погода была чудесная. Графиня согласилась и, поблагодарив Бертена, вместе с дочерью вышла на улицу.

Какое-то время они шли молча, радуясь и наслаждаясь полученными подарками, потом заговорили о тех драгоценностях, которые только что видели и держали в руках. Они словно еще видели блеск, словно еще слышали звяканье, их до сих пор не покидало какое-то беспричинное веселье. Они шли быстро, пробираясь в толпе, которая летом, в пять часов вечера, всегда наводняет тротуары. Мужчины оборачивались и смотрели вслед Аннете; проходя мимо нее, вполголоса восхищались ею. После траура, после того, как черный цвет подчеркнул ослепительную красоту Аннеты, графиня показалась в Париже вместе с дочерью впервые, и теперь, когда она увидела этот фурор, который производила Аннета на улице, это

всеобщее внимание, эту рябь лестных чувств, которую оставляет за собой в толпе мужчин красивая женщина, когда она услышала этот восторженный шепот, сердце ее сжалось, и на него легла такая же тяжесть, как в тот вечер у нее в гостиной, когда гости сравнивали девочку с ее портретом. Она невольно ловила эти взгляды, привлеченные Аннетой, она чувствовала их еще издали, когда, скользнув по ее лицу и не задержавшись на нем, они вдруг останавливались на светловолосой головке той, что шла рядом с ней. Она угадывала, она видела в глазах прохожих мгновенное и немое восхищение этой расцветающей молодостью, влекущим очарованием этой свежести, и подумала: «Я так же хороша, как она, если не лучше». Внезапно ее пронзила мысль об Оливье, и, как это было в Ронсьере, ее охватило непреодолимое желание убежать.

Ей больше не хотелось оставаться на свету, оставаться в людском потоке, на виду у всех этих мужчин, которые смотрели не на нее. Далеки были те дни — ведь еще совсем недавние дни! — когда она сама хотела, чтобы все видели ее поразительное сходство с дочерью, когда она сама старалась подчеркнуть это сходство. Но кому из прохожих пришло бы в голову сравнивать их теперь? Быть может, лишь один человек подумал об этом только что, в ювелирном магазине. Он? О, как это больно! Неужели он не испытывает постоянного, неотвязного желания сравнивать их? Конечно, видя их вместе, он не мог не думать, не вспоминать о том времени, когда она, такая цветущая, такая красивая, входила к нему, уверенная в его любви!

— Мне нехорошо, — сказала она, — возьмем фиакр, детка.

— Что с тобой, мама? — с беспокойством спросила Аннета.

— Ничего, ничего; ты же знаешь, что после смерти бабушки у меня часто бывают моменты слабости!

Глава 5

Навязчивые идеи отличаются таким же злобным упорством, как и неизлечимые болезни. Поселившись однажды в мозгу, они пожирают его, ни о чем не позволяют думать, не позволяют получить хотя бы малейшее удовольствие. Что бы ни делала графиня — дома или где-нибудь в другом месте, одна или на людях, — она уже не могла отделаться от мысли, овладевшей ею в тот день, когда она возвращалась домой под руку с дочерью: «Неужели Оливье, который видит нас почти каждый день, не испытывает постоянного, неотвязного желания сравнивать нас?» Конечно, сравнивает, сравнивает бессознательно, беспрестанно; его самого неотступно преследует это сходство, о котором нельзя забыть ни на миг и которое еще) силилось теперь, когда Аннета стала подражать ее жестам и манере говорить. Каждый раз, как он приходил, она начинала думать об этом сопоставлении, читала его во взгляде Бертена, догадывалась о нем и обдумывала его умом и сердцем. И ее начинало терзать стремление спрятаться, исчезнуть, не показываться больше Бертену вместе с дочерью.

Она страдала еще и потому, что уже не чувствовала себя хозяйкой своего дома. В тот вечер, когда все смотрели на ее дочь, стоявшую под ее портретом, ей нанесли обиду, как бы отняв у нее то, что всецело принадлежало ей, и обида не забывалась, она росла и по временам ожесточала графиню. Графиня все время упрекала себя за то, что в глубине души жаждала освобождения, за постыдное желание, чтобы дочь ушла из ее дома, как обременительная и докучная гостья, и она инстинктивной хитростью старалась добиться этого, снедаемая желанием бороться и, несмотря ни на что, удержать при себе человека, которого любила.

Не имея возможности ускорить брак Аннеты, который, вследствие недавно объявленного траура, пришлось ненадолго отложить, она испытывала страх, непонятный, но сильный страх, что какая-нибудь случайность может помешать этим планам, и почти бессознательно старалась пробудить в сердце дочери склонность к маркизу.

Все искусные дипломатические уловки, которые она так долго пускала в ход, чтобы сохранить Оливье, приняли у нее новую форму, стали более утонченными, менее заметными и служили для того, чтобы сблизить дочь с маркизом, не допуская в то же время встреч маркиза с художником.

Так как художник, который привык работать по утрам, всегда завтракал дома, а с друзьями виделся вечером, она часто приглашала

маркиза к завтраку. Он появлялся, словно внося с собой оживление после прогулки верхом, струю утренней прохлады. Он весело рассказывал светские новости, которые, кажется, носятся в воздухе каждый день над пробуждающимся осенним Парижем, катающимся и блистающим в аллеях Булонского леса. Аннета с удовольствием слушала его, входя во вкус повседневных историй, которые он преподносил ей совсем свежими и покрытыми налетом шика. Между ними возникала юношеская близость, теплая дружба, которую вполне естественно делала еще теснее их общая, страстная любовь к лошадям. Когда он уезжал, граф и графиня начинали тактично превозносить его, говорили о нем все, что нужно было говорить для того, чтобы девушка поняла: только от нее зависит ее брак с маркизом, если он ей нравится.

Она и сама поняла это очень скоро и в простоте душевной рассудила, что, конечно, выйдет замуж за этого красивого молодого человека, который, помимо разных других удовольствий, доставит ей самое главное: каждое утро гарцевать бок о бок с ним на чистокровном скакуне.

В один прекрасный день они, обменявшись рукопожатием и улыбкой, совершенно естественно стали женихом и невестой, и об этой свадьбе заговорили как о деле, давно решенном. С тех пор маркиз начал делать ей подарки. Герцогиня начала обращаться с Аннетой как с родной дочерью. Так, с общего согласия, дельце это было состряпано на огоньке интимности в спокойное дневное время, по вечерам же маркиз, у которого было великое множество разных дел, знакомств, обязанностей и повинностей, приходил редко.

Тогда наступала очередь Оливье Раз в неделю он неизменно обедал у своих друзей Гильеуа, а кроме того, по-прежнему являлся к ним без предупреждения на чашку чая между десятью и двенадцатью ночи. Как только он появлялся в дверях, графиня начинала следить за ним: ее мучило желание знать, что происходит у него в душе. Любой его взгляд, любой жест она истолковывала по-своему, и ее терзала мысль—«Не может быть, чтобы он не любил ее, видя нас вместе».

Он тоже делал подарки. Недели не проходило, чтобы он не приносил двух маленьких свертков, один из которых он вручал матери, а другой — дочери, и, когда графиня открывала ларчики, в которых часто находились ценные вещи, у нее сжималось сердце. Ей было хорошо знакомо это желание одаривать, которое она, как женщина, никогда не могла удовлетворить, это желание доставить удовольствие, что-то принести, купить для кого-нибудь, разыскать в лавке безделушку, которая кому-то понравится.

У художника и раньше проявлялась эта страсть, и она много раз видела, как он входил, так же улыбаясь, так же неся в руке маленький сверток. Потом это прошло, а теперь вот начинается снова. Из-за кого? Сомнений у нее не было. Не из-за нее!

Он выглядел усталым, похудевшим. Из этого она сделала вывод, что он страдает. Она сравнивала его появления, его вид, его манеру обращения с поведением маркиза, на которого тоже начинало действовать обаяние Аннеты. Это были совсем разные вещи. Де Фарандаль был влюблен, а Оливье Бертен любил! По крайней мере, так думала она в часы своих мучений, хотя потом, в спокойные минуты, все еще надеялась, что ошибается.

О, как часто, оставшись с ним наедине, она готова была допрашивать его, просить, умолять, чтобы он сказал ей все, признался во всем, не скрывал ничего! Она предпочитала узнать правду и плакать, только бы не страдать от сомнений, от того, что не может читать в его закрытом для нее сердце, в котором — она чувствовала это! — растет новая любовь.

Его сердце было ей дороже жизни; она следила за ним, согревала, жила своей нежностью уже двенадцать лет, она думала, что может быть спокойна, и надеялась, что завладела им, покорила, подчинила его себе окончательно, считала, что оно всецело предано ей навсегда, и вот теперь это сердце ускользало от нее по воле непостижимого, страшного, чудовищного рока. Да, оно сразу замкнулось, скрывая какую-то тайну. Она уже не могла проникнуть в него с помощью дружеского слова, спрятать в нем свое чувство как в надежном убежище, открытом для нее одной. Зачем же любить, зачем жертвовать собой, если тот, кому ты отдала всю себя, всю свою жизнь — все, все, что есть у тебя в этом мире, — так внезапно ускользает от тебя, оттого что ему понравилось другое лицо, и за несколько дней он становится тебе почти чужим?

Чужим! Он, Оливье! Он говорил с ней, как и прежде, теми же словами, тем же голосом, тем же тоном. И все-таки между ними встало что-то необъяснимое, непобедимое, неуловимое, «почти что ничего», то «почти что ничего», из-за которого при перемене ветра парус уходит все дальше и дальше от берега.

Он действительно уходил от нее все дальше, уходил все дальше и дальше с каждым днем, его уводил от нее любой взгляд, который он бросал на Аннету. Сам он не старался разглядеть свое сердце. Он чувствовал это брожение любви, это непреодолимое влечение, но не хотел понять его, и вверялся течению событий, непредвиденным превратностям судьбы.

Единственной его заботой были вечера и обеды в обществе этих двух

женщин, которых траур разлучил со светской суетой. Встречая в доме у Гильруа только людей, ему безразличных, — чаще всего это были Корбели и Мюзадье, — он воображал, что он почти один у них в целом мире, и, так как теперь он не видел там герцогиню и маркиза, которым были отведены утро и первая половина дня, старался забыть о них, полагая, что свадьба отложена на неопределенное время.

К тому же и Аннета ни разу не заговорила при нем о де Фарандале. Была ли то какая-то инстинктивная стыдливость, или, быть может, то было тайное чутье женского сердца, позволяющее ему угадывать неведомое?

Недели шли за неделями, ничего не изменяя в этой жизни; наступила осень, и сессия Палаты депутатов началась раньше обычного ввиду тревожного положения в стране.

В день открытия сессии граф де Гильруа, после завтрака у него в доме, должен был проводить герцогиню де Мортмен, маркиза и Аннету на заседание. Графиня, замкнувшаяся в своем все возрастающем горе, объявила, что не поедет.

Все встали из-за стола и перешли пить кофе в большую гостиную; всем было весело. Граф, радуясь возобновлению деятельности Палаты — эта деятельность составляла единственное его удовольствие, — почти умно говорил о создавшейся обстановке и о трудностях, переживаемых республикой; маркиз, по-настоящему влюбленный, горячо поддерживал его, не спуская глаз с Аннеты, герцогиня же была почти в равной мере довольна как чувством племянника, так и правительственным кризисом. Воздух гостиной наполнился теплом, исходившим от горячих калориферов, впервые затопленных после лета, от драпировок, стен, ковров; в ней веяло тонким запахом увядающих цветов. В этой уединенной комнате, где кофе тоже распространял свой аромат, было что-то интимное, семейное, приятное; вдруг дверь отворилась, и появился Оливье Бертен.

Он остановился на пороге: он был так потрясен, что вошел не сразу, он был потрясен, как обманутый муж, убедившийся в измене жены. Его душила непонятная злоба и такое волнение, что он сразу понял, как источено любовью его сердце. Все, что от него скрывали, и все, что он скрывал сам от себя, стало для него ясно, как только он увидел маркиза, расположившегося в этом доме на правах жениха!

В порыве гнева он сразу разглядел все то, о чем не хотел знать и о чем с ним не смели заговорить. Он не спрашивал себя, почему его не звали на все эти предсвадебные спектакли. Он угадал это; его посуровевшие глаза встретились с глазами графини, и та покраснела. Они поняли друг друга.

Когда он сел, все замолчали: его неожиданный приход парализовал

приподнятое настроение присутствовавших; потом герцогиня обратилась к нему, и он отвечал ей прерывающимся, внезапно изменившимся, странно звучащим голосом.

Он смотрел на всех этих сидевших возле него людей, возобновивших разговор, и думал: «Они меня надули. Они мне за это заплатят». Особенно он был зол на графиню и на Аннету, невинный обман которых он внезапно постиг.

Тут граф взглянул на часы.

— Ого! Пора ехать! — воскликнул он. И обратился к художнику. — Мы отправляемся на открытие сессии. Только жена остается дома. Не хотите ли поехать с нами? Я буду очень рад!

— Нет, благодарю вас. Ваша Палата меня не соблазняет, — сухо ответил Оливье.

Тут к нему подошла Аннета и со своим обычным игривым видом сказала:

— Поедьте, дорогой маэстро! Я уверена, что с вами нам будет гораздо веселее, чем с депутатами!

— Нет, нет! Вам будет весело и без меня. Догадываясь, что он раздосадован и опечален, она настаивала, желая быть с ним как можно приветливее:

— Ну, поедьте, господин художник! Я без вас не могу, честное слово!

— Э, вы обойдетесь без меня так же легко, как и все остальные!

Эти несколько слов вырвались у него так неожиданно, что он не сумел ни удержать их, ни смягчить их звучание.

Слегка удивленная его тоном, она воскликнула:

— Вот тебе раз! Он опять называет меня на «вы»! На губах его мелькнула та судорожная усмешка, которая выдает душевную муку.

— Рано или поздно, а придется мне к этому привыкнуть, — с легким поклоном проговорил он.

— Почему это?

— Потому что вы выйдете замуж, и ваш муж, кто бы он ни был, вправе будет заметить, что «ты» неуместно — У нас еще будет время обсудить это, — поспешила вмешаться графиня. — Но я надеюсь, что Аннета не выйдет за такого обидчивого человека, который станет придирааться к вольности старого друга.

— Скорей, скорей одевайтесь! Мы же опоздаем! — кричал граф.

Те, кто собирался ехать с ним, встали и вышли после обычных рукопожатий и поцелуев, которыми герцогиня, графиня и ее дочь обменивались при каждой встрече и при каждом расставании.

Художник и графиня остались одни. Оба продолжали стоять у портьеры, за закрытой дверью — Садитесь, мой друг, — ласково сказала она.

— Нет, благодарю вас, я тоже ухожу, — почти грубо проговорил он.

— Но почему? — умоляюще вымолвила она.

— Потому что мое время, очевидно, миновало. Прошу извинить, что явился без предупреждения.

— Оливье! Что с вами?

— Ничего; я только сожалею о том, что расстроил эту увеселительную прогулку. Она схватила его за локоть.

— Что вы хотите этим сказать? Им пора было ехать, раз они отправлялись на открытие сессии. А я решила остаться. Напротив, вам, право же, что-то подсказало, чтобы вы пришли сегодня, когда я одна.

Он усмехнулся.

— Подсказало! Да, да, именно подсказало! Она взяла его за обе руки и, глядя ему прямо в глаза, еле слышно прошептала:

— Признайтесь, что вы ее любите! Не в силах больше сдерживать раздражение, он отстранился от нее.

— Да вы просто помешались на этой мысли! Она снова схватила его за руки и, вцепившись пальцами в рукава, принялась умолять его:

— Оливье! Признайтесь! Признайтесь! Я хочу знать правду, я уверена в этом, но я хочу знать!.. Я хочу!.. О, вы не понимаете, во что превратилась моя жизнь!

Он пожал плечами.

— Чего вы от меня хотите? Чем я виноват, что вы теряете голову?

Она не выпускала его, она тащила его в другую гостиную, ту, что была дальше, — туда, где их не могли услышать. Хватаясь за его пиджак, цепляясь за него, задыхаясь, она тянула его за собой. Доведя до круглого диванчика, она заставила его сесть, чуть не повалила его, а затем села рядом с ним.

— Оливье, мой друг, мой единственный друг, прошу вас, скажите мне, что вы ее любите! Я это знаю, я это чувствую в каждом вашем поступке, я в этом не сомневаюсь, я умираю от этого, но я хочу услышать это из ваших уст!

Он все еще не сдавался, и она упала к его ногам. Голос ее стал хриплым — Друг мой, друг мой, единственный Друг мой, ведь вы ее любите, это правда?

Пытаясь поднять ее, он крикнул:

— Да нет же, нет! Нет, клянусь вам!

— Не лгите! Я так страдаю! — зажимая ему рот рукой, пролепетала она.

И, уронив голову ему на колени, разрыдалась Теперь он видел только ее затылок, густую копну светлых волос, в которых было уже много седины, и его пронзила бесконечная жалость, бесконечная скорбь.

Захватив полные горсти этих тяжелых волос, он насильно приподнял ее голову, и на него посмотрели безумные глаза, из которых ручьями текли слезы. Тогда он стал осыпать поцелуями эти мокрые глаза, повторяя:

— Ани, Ани! Дорогая, дорогая моя Ани! Пытаясь улыбнуться, она заговорила, всхлипывая, как ребенок, который задыхается от горя:

— Друг мой! Скажите мне только, что вы еще немножко любите меня! Он снова стал целовать ее.

— Да, я люблю вас, дорогая Ани Г Она поднялась, села рядом с ним, опять взяла его за руки, взглянула на него и ласково сказала:

— Ведь мы давно любим друг друга! И это не должно так кончиться.

Он спросил, прижав ее к себе.

— Почему же это должно кончиться?

— Потому что я стара и потому что Аннета слишком похожа на ту, какую я была, когда мы с вами познакомились!

Теперь уже Оливье зажал рукой эти скорбные уста.

— Опять вы за свое! — воскликнул он — Прошу вас, не говорите больше об этом! Клянусь вам, что вы ошибаетесь!

— Только бы вы хоть немножко любили меня! — повторила она.

— Да, я люблю вас! — снова сказал он. Потом они еще долго сидели молча, держась за руки, глубоко взволнованные и глубоко опечаленные.

Наконец она нарушила молчание и тихо проговорила:

— Невеселы будут те дни, которые мне осталось прожить!

— Я постараюсь скрасить их.

Пасмурное, предзакатное небо все хмурилось, сумерки сгущались в гостиную, и сидевших в ней мало-помалу окутывала серая дымка осеннего вечера.

Пробили часы.

— Мы уже давно сидим здесь, — сказала она — Вам пора уходить: кто-нибудь может войти, а у нас с вами такой взбудораженный вид!

Он встал, обнял ее, поцеловал, как когда-то, в полураскрытые губы, и они прошли обе гостиные под руку, точно муж и жена.

— Прощайте, мой друг!

— Прощайте, мой друг!

И портьера опустилась за ним.

Он спустился по лестнице, повернул к ев Магдалине и зашагал наугад, оглушенный как после удара; ноги у него подкашивались, сердце пылало и билось так, словно в груди у него развевался горящий лоскут. Часа два, а может быть, три, а может быть, и четыре он шел, куда глаза глядят, в каком-то таком душевном оцепенении и физическом изнеможении, что сил у него оставалось ровно столько, сколько нужно для того, чтобы передвигать ноги. Потом пришел домой и погрузился в размышления.

Итак, он любит эту девочку! Теперь ему стало понятно все, что испытывал он в ее присутствии со дня прогулки по парку Монсо, когда услышал в ее горле звуки того голоса, который узнал с трудом, того голоса, который в былое время пробудил его сердце, ему стало понятно это медленное, непобедимое возрождение в нем еще не совсем угасшей, еще не совсем ушедшей любви, в котором он упорно не хотел сознаться самому себе.

Что делать? Да и что мог он поделать? Когда она выйдет замуж, он будет избегать частых встреч с нею, вот и все. А до тех пор он по-прежнему будет ходить в этот дом, чтобы никто ничего не заподозрил, и будет от всех скрывать свою тайну.

Он пообедал дома, чего с ним никогда не случалось. Затем приказал затопить большой камин в мастерской: ночь обещала быть морозной. Он даже велел зажечь люстру, словно боялся темных углов, и заперся. Какое странное, страшное, какое глубокое, почти физическое чувство печали охватило его! Он ощущал его в горле, в груди, во всех своих ослабевших мускулах и в изнеможенной душе. Стены комнаты давили на него, а ведь вся его жизнь — жизнь художника, жизнь человека — не выходила за пределы этих стен. Каждый написанный им этюд, висевший на стене, напоминал ему об очередном успехе, каждый предмет обстановки вызывал у него воспоминание. Но и успехи, и воспоминания принадлежали прошлому. Ну, а его жизнь? Какой казалась она ему короткой, пустой и вместе с тем какой полной! Он писал картины, и опять картины, он вечно писал картины и любил одну женщину. На память ему пришли вечера восторга после свиданий вот в этой самой мастерской. Он шагал по ней ночи напролет в нервном возбуждении, переполнявшем все его существо. Радости счастливой любви, радости успехов в свете, ни с чем не сравнимому упоению славой он обязан незабываемыми часами духовного торжества.

Он любил эту женщину, и эта женщина любила его. Благодаря ей он вступил в таинственный мир чувств и страстей. Она почти насильно открыла его сердце, и теперь он уже не может закрыть его снова. И в эту брешь, помимо него, вошла другая любовь! Другая, или, вернее, та же

любовь, только еще более жарко запыхавшаяся при виде нового лица, та же любовь, только усиленная потребностью обожания, которая в старости приобретает такую огромную власть. Итак, он любит эту девочку! Больше незачем бороться, сопротивляться, отрицать — он любит ее и в отчаянии сознает, что не дождется от нее ни капли жалости, что она никогда даже не узнает о его жестоких страданиях и что на ней женится другой. При этой мысли, которая постоянно возвращалась к нему и отогнать которую он не мог, его охватывало животное желание завывать, как воет собака на привязи: он чувствовал себя беспомощным, порабощенным, точно и его посадили на цепь. Чем больше он думал об этом, тем больше нервничал, и все ходил и ходил большими шагами по просторной комнате, освещенной словно для праздника. Наконец, не в силах долее терпеть боль от этой все время растравляемой раны, он попытался исцелить ее думами о своей былой любви, пролить на нее бальзам воспоминаний о своей первой сильной страсти. Он вынул из шкафа копию портрета графини, давно сделанную им для себя, поставил на мольберт, а сам сел напротив и принялся рассматривать ее. Он пытался вновь увидеть, вновь обрести ее живой — такой, какою он когда-то любил ее. Но на полотне все время возникала Аннета. Мать исчезала, таяла, уступая место другой, которая была так удивительно на нее похожа. Это была она, это были ее волосы, чуть более светлые, чем у матери, ее чуть более шаловливая улыбка, ее чуть более насмешливое выражение лица, и он явственно ощущал, что душой и телом он во власти этого юного существа — никогда не имела над ним такой власти та, другая, — так тонущая лодка оказывается во власти волн!

Он поднялся и, чтобы не видеть более этого призрака, повернул холст; потом, чувствуя, что все его существо проникнуто печалью, пошел в спальню и принес оттуда в мастерскую ящик от своего письменного стола, в котором покоились все записки от его возлюбленной. Они лежали здесь, как в кровати, одна на другой, образуя что-то вроде пышного ложа из тоненьких листочков. Он погрузил в них руки — во все эти письма, говорившие о нем и о ней, в эту живую воду их долгой любви. Он смотрел на этот тесный дощатый гроб, в котором опочило такое множество сложенных в кучу конвертов, на каждом из которых было написано его имя, только его имя. Он думал о том, что она, эта желтоватая бумажная волна, на которой там и сям виднелись красные печати, рассказывала об одной любви, о нежной взаимной привязанности двух существ, рассказывала историю двух сердец, и, склонившись над этой волной, вдыхал веяние прошлого, наводящий тоску запах давно запертых писем.

Ему захотелось перечитать их, и, порывшись на дне ящика, он

вытащил несколько самых старых. По мере того, как он разворачивал письма, с их страниц сходили отчетливые воспоминания, и они переворачивали ему душу. Среди писем он узнавал множество таких, которые когда-то носил при себе по целым неделям и, пробегая написанные мелким почерком строки, говорившие ему такие ласковые слова, заново переживал волнения прошлого. Вдруг пальцы его нащупали тонкий вышитый платок. Что это такое? Поразмыслив несколько мгновений, он вспомнил! Однажды она расплакалась у него — она слегка приревновала его к кому-то, — и он украл у нее и спрятал этот смоченный слезами платок!

Ах, как все это грустно! Как это грустно! Бедная женщина!

Со дна ящика, со дна прошлого все эти воспоминания поднимались, словно какие-то испарения, да это и были теперь только неосязаемые испарения иссякшей жизни. И все же он страдал от этого, он плакал над письмами, как плачут над мертвыми, потому что их уже нет.

Но эта всколыхнувшаяся в нем прежняя любовь пробудила в нем новый, юный пыл, брожение соков неукротимого чувства, вызывавшего в памяти сияющее личико Аннеты. Когда-то он любил ее мать и теперь, в каком-то страстном порыве, добровольно шел в кабалу, начинал любить эту девочку как раб, как старый, покорный раб в оковах, которых ему уже не разбить никогда.

В глубине души он чувствовал это, и ему становилось страшно.

Он пытался понять, как и почему она получила такую власть над ним. Ведь он так мало знает ее! Ведь она еще только становится женщиной, а ее душа и сердце спят сном юности.

А он? А его жизнь почти кончена! Каким же образом этот ребенок сумел покорить его несколькими улыбками и локонами? Ах! Улыбки, белокурые локоны этой девчушки вызывали у него желание упасть на колени и склониться до земли.

Можем ли мы, можем ли мы знать, почему женское лицо действует на нас так же сильно, как яд? Кажется, будто мы выпили его глазами, и оно стало нашей мыслью и нашей плотью! Мы пьяны им, мы сходим от него с ума, мы живем этим поглощенным нами образом, и мы умерли бы за него!

И как порой заставляет страдать сердце мужчины эта жестокая и непостижимая власть чьего-то лица!

Оливье Бертен снова зашагал по мастерской; была уже глубокая ночь, камин погас. Холод проникал через окна в комнату. Он лег в постель, но все думал, думал и страдал до утра.

Встал он рано, сам не зная зачем, не зная, что ему делать,

взвинченный, безвольный, как вертящийся флюгер.

Раздумывая, чем бы развлечься, куда девать себя, он вспомнил, что как раз в этот день недели кое-кто из членов его клуба встречается в турецких банях и после массажа завтракает там. Он быстро оделся в надежде, что горячая вода и душ успокоят его, и вышел из дому.

На улице его прохватил резкий холод, этот первый, угнетающе действующий на нас холод первых заморозков, которые за одну ночь уничтожают последние остатки лета.

На бульварах шел частый дождь больших желтых листьев, падавших с тихим, сухим шелестом. Они падали всюду, куда хватал глаз, вдоль широких авеню, между фасадами домов, словно их стебли только что были срезаны с ветвей тонким и острым ледяным лезвием. Мостовые и тротуары были уже сплошь покрыты ими и за несколько часов стали похожи на лесные просеки в самом конце осени. Вся эта мертвая листва шуршала под ногами и порой, при порывах ветра, поднималась легкими волнами. Это был один из тех переходных дней, которыми кончается одно время года и начинается другое и в которых есть своя радость и своя скорбь: скорбь угасания и радость обновления.

Когда Оливье вошел в турецкие бани, то при одной мысли о тепле, которое сейчас, после ходьбы на уличном ледяном ветру окутает все его тело, тоскующее его сердце сильно забилося от предвкушаемого наслаждения.

Он поспешно разделся, обмотал вокруг пояса тонкое полотенце, поданное ему служителем, и исчез за отворившейся перед ним обитой дверью.

Проходя по турецкой галерее, освещенной двумя восточными фонарями, он с трудом дышал густым, горячим паром, казалось, шедшим издали, от какой-то печи. Потом курчавый негр с лоснящимся торсом, с мускулистыми руками и ногами, в одной набедренной повязке, бросился вперед, поднял перед Бертенем портьеру на другом конце галереи, и тот вошел в большое, круглое, высокое помещение самой бани, где, точно в храме, царило полное, почти мистическое безмолвие. Дневной свет падал в огромный, шарообразный зал, в котором пол был выложен каменными плитами, а стены украшены изразцами с орнаментом в арабском вкусе, сверху — через купол и через цветные стекла в форме трилистников.

Одни из этих почти голых мужчин всех возрастов медленно, молча, с серьезным видом расхаживали взад и вперед, другие, скрестив руки, сидели на мраморных скамеечках, третьи вполголоса разговаривали.

Воздух был так горяч, что уже при входе дышать становилось трудно.

Было что-то античное, что-то таинственное здесь, в этом живописном и душном цирке, где грелись человеческие тела и где сновали черные массажисты и медноногие арабы.

Первым, кого увидел художник, был граф де Ланда. Он расхаживал, как римский борец, гордясь своей широченной грудью и своими громадными руками, которые он скрестил на животе. Завсегдатай бань, он чувствовал себя здесь как актер на сцене, которому рукоплещет публика, и в качестве арбитра принимал участие в спорах о мускулатуре всех парижских силачей.

— Здравствуйте, Бертен! — сказал он. Они пожали друг другу руки.

— Самое время попотеть, а? — продолжал он.

— Да, самое время.

— Видели Рокдиана? Вон он! Я вытащил его прямо из постели! Ох! Поглядите-ка на эту мумию!

Мимо них проходил низкорослый господин с кривыми ногами, дряблыми руками и тощими бедрами, вызвав презрительную улыбку у этих людей, которые издавна славились своим здоровьем.

Рокдиан, увидев художника, подошел к ним.

Они уселись на длинный мраморный стол и принялись болтать, как в гостиной. Служители сновали, предлагая напитки. Раздавались шлепки массажистов по голым телам, внезапный шум душой. Немолчный плеск воды, доносившийся из всех углов обширного амфитеатра, наполнял его легким шорохом дождя.

То и дело какой-нибудь новый посетитель раскланивался с тремя приятелями или подходил, чтобы обменяться с ними рукопожатием. Подошли толстый герцог Гаррисон, низкорослый князь Эпилати, барон Флак и другие.

Вдруг Рокдиан сказал:

— Э, да это Фарандаль!

Маркиз вошел, упершись руками в бедра и ступая с непринужденностью великолепно сложенного мужчины, которому нечего стесняться.

— Этот повеса — настоящий гладиатор! — шепнул Ланда.

— Правда ли, что он женится на дочери ваших друзей? — обращаясь к Бертену, спросил Рокдиан.

— Как будто бы да, — отвечал художник. Этот вопрос, заданный в присутствии этого человека, в эту минуту и в этом месте, заставил сердце Оливье содрогнуться от отчаяния и гнева. Так быстро и так остро ощутил он всю ужасающую реальность будущего, что ему несколько секунд

пришлось бороться с животным желанием броситься на маркиза. Затем поднялся.

— Я устал, — сказал он. — Пойду на массаж. Мимо проходил один из арабов.

— Ахмет! Ты свободен?

— Да, господин Бертен.

И Оливье торопливо вышел, чтобы избежать рукопожатия Фарандаля, который медленно обходил хаммам^[3].

И четверти часа не провел Бертен в большом зале для отдыха, где было так тихо, — и в опоясывавших его кабинах с постелями, и вокруг цветника из африканских растений, посреди которого била, рассыпаясь мелкими брызгами, струя воды из фонтана. У художника было такое чувство, будто за ним гонятся, будто ему что-то угрожает, будто к нему сейчас подойдет маркиз и придется подать ему руку и дружески обращаться с ним, тогда как ему, Бертену, хотелось бы его убить.

И вскоре он снова оказался на бульваре, засыпанном мертвыми листьями. Они уже перестали опадать; последние из них были сорваны долго неистовствовавшей бурей Красно-желтый ковер трепетал, колыхался и волнами перекачивался с одного тротуара на другой поп, все более резкими порывами усиливавшегося ветра.

Вдруг по крышам пронесся какой-то вой, звериный рев надвигавшегося урагана, и тотчас же на бульвар обрушился яростный шквал, который, скорее всего, налетел со стороны св. Магдалины.

Листья, все опавшие листья взлетели при его приближении, — казалось, они ждали его. Они бежали впереди него, собирались в кучи, кружились, как вихрь, поднимались спиралью до самых крыш. Он гнал их, как стадо, как обезумевшее стадо, которое убегало, мчалось, устремляясь к парижским заставам, к свободному небу предместий. И когда густое облако листьев и пыли исчезло на высоких улицах квартала Мальзерб, мостовые и тротуары показались голыми, удивительно чистыми и выметенными.

«Что теперь будет со мною? — соображал Бертен. — Что мне делать? Куда идти?» И, так ничего и не придумав, повернул домой.

Взгляд его привлек газетный киоск. Он купил несколько газет в надежде, что ему удастся найти там что-нибудь интересное и часок-другой почитать.

— Я завтракаю у себя, — объявил он, вернувшись домой.

Он поднялся в мастерскую, но, едва усевшись, почувствовал, что не в силах здесь оставаться: он весь был охвачен возбуждением, как разъяренный зверь.

Он пробежал газеты, но они ни на миг не могли отвлечь его дум, и факты, о которых он читал, воспринимались лишь глазами и не доходили до его сознания. В середине одной заметки, которую он даже не пытался понять, слово «Гильруа» заставило его вздрогнуть. Речь шла о заседании Палаты, на котором граф произнес несколько слов.

Его мысль, пробужденная этим напоминанием, остановилась затем на имени знаменитого тенора Монрозе, который в конце декабря должен был только один раз выступить в Большом оперном. «Это будет, — говорилось в газете, — музыкальный праздник, ибо тенор Монрозе, покинувший Париж шесть лет назад, имел небывалый успех во всей Европе и в Америке, а кроме того, вместе с ним должна выступить прославленная шведская певица Эльсон, которую в Париже тоже не слышали пять лет».

Тут у Оливье мелькнула мысль, казалось, родившаяся в глубине его души: доставить Аннете удовольствие и повести ее на этот спектакль. Но, вспомнив, что траур графини не позволяет осуществить это намерение, он стал обдумывать, как бы все-таки привести свой план в исполнение. Наконец он нашел выход. Надо взять боковую ложу — сидящих там почти не видно, а если графиня все равно не захочет ехать, то он пригласит вместе с Аннетой ее отца и герцогиню В. В таком случае ложу придется предложить герцогине. Но тогда он будет вынужден пригласить и маркиза!

Он долго раздумывал и колебался.

Разумеется, брак этот — вопрос решенный, и, вне всякого сомнения, назначен даже день свадьбы. Он догадывался, что его подруга спешит покончить с этим, и понимал, что она выдаст дочь за Фарандаля елико возможно скорее. Тут он бессилен. Он не властен ни помешать этому ужасному событию, ни изменить его, ни отдалить! Но раз уж приходится покориться, то не лучше ли попытаться усмирить свою душу, скрыть свои страдания, казаться довольным и впредь не давать воли своим чувствам?

Да, он пригласит маркиза, он усыпит таким образом подозрения графини, а двери дома юной супружеской четы будут всегда для него открыты как для друга.

После завтрака он тотчас отправился в Оперу, чтобы оставить за собой какую-нибудь ложу, скрытую занавесками. Ложа была ему обещана. Он помчался к Гильруа.

Графиня почти сейчас же вышла к нему, все еще глубоко взволнованная вчерашней трогательной сценой.

— Как хорошо, что вы пришли сегодня! — сказала она.

— У меня кое-что есть для вас, — пробормотал он.

— Что же это?

— Ложа в Опере на единственный спектакль с Эльсон и Монрозе.
— Ах, как жаль, мой друг! А как же траур?
— Ваш траур длится почти четыре месяца!
— Уверяю вас, я не в силах!
— А Аннета? Подумайте: ведь такой случай, может быть, никогда больше не представится!
— Ас кем же она пойдет?
— С отцом и с герцогиней, которую я собираюсь пригласить. Я хочу предложить место и маркизу.

Она пристально посмотрела ему в глаза; ей безумно хотелось расцеловать его. Она просто не верила своим ушам.

— Маркизу? — переспросила она.

— Ну да!

Она мгновенно согласилась на эту комбинацию.

— Вы уже назначили день свадьбы? — равнодушным тоном продолжал он.

— Да, почти что назначили! У нас есть основания поторопиться, тем более что это было решено еще до маминой смерти, помните?

— Прекрасно помню. Так когда же?

— В начале января. Простите, что я не сказала вам об этом раньше.

Вошла Аннета. Он почувствовал, как сердце подпрыгнуло у него в груди, словно подброшенное пружиной, и вся нежность, которая влекла его к ней, внезапно перешла в озлобление, порождая в нем ту странную и страстную враждебность, в какую превращается любовь, которую подхлестывает ревность.

— У меня кое-что есть для вас, — сказал он.

— Итак, мы с вами окончательно на «вы»? — спросила она.

— Слушайте, дитя мое, — отеческим тоном заговорил он. — Мне известно, к какому событию готовятся у вас в семье. Уверяю вас, что в скором времени это будет необходимо. И лучше уж сейчас, чем потом.

Она с недовольным видом пожала плечами, а графиня молча смотрела вдаль и о чем-то напряженно думала.

— Что же вы мне принесли? — спросила Аннета. Он сообщил о предстоящем спектакле и о том, кого намеревается пригласить. Она пришла в восторг и в ребяческом порыве бросилась к нему на шею и расцеловала в обе щеки.

От легкого прикосновения этих нежных губок и от ее свежего дыхания он почувствовал, что теряет сознание, и понял, что не излечится никогда.

Графиня поморщилась.

— Ты забыла, что тебя ждет отец? — сказала она дочери.

— Да, да, мама, иду!

Она убежала, посылая воздушные поцелуи.

Как только она упорхнула, Оливье спросил:

— Они отправятся путешествовать?

— Да, на три месяца.

— Тем лучше, — невольно прошептал он.

— Мы заживем по-прежнему, — сказала графиня.

— Надеюсь, — пролепетал он.

— А пока не отдаляйтесь от меня.

— Нет, друг мой.

Его вчерашний порыв при виде ее слез и только что выраженное им желание пригласить маркиза в Оперу снова подали графине некоторую надежду.

Но это продолжалось недолго. Не прошло и недели, как она снова, мучительно, ревниво, зорко принялась наблюдать за этим человеком и видела на его лице следы всех пыток, которые он претерпевал. От нее ничто не могло укрыться: она сама испытывала всю ту боль, которую — как она догадывалась — испытывал он, а постоянное присутствие Аннеты ежеминутно напоминало ей о том, сколь тщетны все ее усилия удержать его.

Ее сразу прикончили годы и траур. Ее кокетство, деятельное, умелое, изобретательное, всю жизнь помогавшее ей одерживать победы над художником, теперь было сковано этой черной одеждой, которая в равной мере подчеркивала ее бледность и изменившееся лицо и оттеняла ослепительную молодость дочери. Как далеко ушло то, казалось бы, совсем недавнее время, когда Аннета вернулась в Париж и она гордилась тем, что добилась сходства в их туалетах — сходства, которое в ту пору давало преимущества ей! Теперь на нее порой налетало яростное желание сорвать со своего тела эти одежды смерти, которые уродовали ее и терзали.

Если бы у нее было сознание, что все средства, которые предоставляет женщине элегантность, в ее распоряжении, если бы она могла выбирать и носить ткани мягких отливов, которые гармонировали бы с цветом ее лица и придавали бы ее умирающей красоте силу, созданную тонким расчетом, силу, столь же неотразимую, сколь и естественная прелесть ее дочери, она безусловно сумела бы стать еще более обворожительной.

Она так хорошо знала, как действуют возбуждающие вечерние туалеты и легкие, чувственные туалеты утренние, волнующее дезабилье, — оно не снимается к завтраку с близкими друзьями и благодаря ему женщина до

середины дня сохраняет некий аромат своего пробуждения, создает реальное ощущение надушенной комнаты и теплой постели, с которой она только что встала!

Но что могла она сделать, нося этот погребальный наряд, этот арестантский халат, в который она будет кутаться еще целый год? Целый год! Целый год она, бессильная и побежденная, будет пленницей этого черного платья! Целый год она будет чувствовать, как она стареет в этом креповом футляре — день за днем, час за часом, минута за минутой! И во что превратится она через год, если ее несчастное больное тело и дальше будет так быстро увядать от тоски?

Эти мысли уже не покидали ее, они отравляли все, что могло бы доставить ей наслаждение, превращали в горе все, что могло бы принести ей радость, портили все удовольствия, все развлечения, всякое веселье. Она вечно трепетала, изо всех сил стараясь сбросить придавивший ее груз скорби, — ведь не будь этого неотступно преследующего ее наваждения, она и поныне была бы счастлива, бодра и здорова! Она и сейчас чувствовала в себе молодую и живую душу, все еще юное сердце, пыл существа, которое только начинает жить, неутолимую жажду счастья, даже более острую, чем прежде, и всепоглощающую потребность любить.

И вот все хорошее, все отрадное, нежное, поэтическое, все, что украшает наше бытие, все, что заставляет нас дорожить жизнью, — все это уходит от нее, потому что она постарела! Всему конец! Но ведь в ней до сих пор не угасли ни нежные чувства юной девушки, ни страстные порывы молодой женщины! Состарилась лишь ее плоть, ее бедная кожа — этот покров всего нашего существа, постепенно выцветший и изношенный, как суконная обивка мебели. Неотвязные думы о разрушении тела поселились в ней, превращаясь в почти физическую боль. Навязчивая идея породила особую чувствительность эпидермы, ощущение приближающейся старости — ощущение постоянное и такое же сильное, как ощущение холода или жары. Ей казалось, что она в самом деле чувствует какое-то непонятное покалывание, как одновременно по лбу медленно расползаются морщины, чувствует, как обвисают складки на щеках и на шее, как множатся бесчисленные мелкие черточки, от которых усталая кожа становится как бы помятой. Сильный зуд заставляет постоянно чесаться того, кого гложет болезнь, так и пугающее ощущение омерзительной, кропотливой работы быстро бегущих лет вызывало у нее непреодолимую потребность находить все новые доказательства этого в зеркалах. Они призывали ее, притягивали, вынуждали подойти, и она пристально смотрелась в них, и опять смотрелась, она разглядывала себя без конца и, словно затем, чтобы не

осталось ни малейших сомнений, трогала пальцами неизгладимые следы протекших лет. Сперва это возникало у нее лишь время от времени: всякий раз, как графиня — дома или же где-нибудь в другом месте — видела грозную поверхность полированного хрусталя. Она останавливалась на тротуарах, чтобы поглядеться в витрины магазинов, словно чья-то рука толкала ее ко всем полоскам стекла, которыми торговцы украшают фасады своих лавок. Это превратилось у нее в болезнь, в манию. Она носила в кармане крошечную, величиною с орех, пудреницу из слоновой кости; внутри нее, в крышечку, было вставлено микроскопическое зеркальце, и она часто, на ходу, открывала ее и подносила к глазам.

Когда она присаживалась в своем будуаре, оклеенном обоями, намереваясь почитать или же что-то написать, ее мысль, на миг отвлеченная новым занятием, вскоре опять возвращалась к тому, что не давало ей покоя. Она боролась с этим, старалась отвлечься, подумать о другом, продолжать заниматься своим делом. Тщетно: острое желание не покидало ее, и вскоре ее рука, положив книгу или перо, непроизвольным движением тянулась к лежавшему на столе зеркальцу с ручкой из старинного серебра. В овальной, чеканной рамке лицо ее выглядело как образ былого, как портрет минувшего века, как некогда свежая, но выцветшая на солнце пастель. Она долго рассматривала себя, потом устало откладывала этот маленький предмет на бюро и силилась снова взяться за дело, но не успевала прочесть и двух страниц или написать двадцати строк, как в ней вновь оживала непобедимая, мучительная потребность поглядеть на себя, и она опять протягивала руку к зеркалу.

Теперь она все время вертела его в руках, как надоевшую безделушку, к которой рука привыкла так, что не может с нею расстаться; принимая друзей, она поминутно бралась за него, и это так ее раздражало, что ей хотелось кричать; крутя его в пальцах, она ненавидела его как живое существо.

Однажды борьба с этим кусочком стекла вывела ее из себя, она ударила его об стену, и оно разбилось вдребезги.

Но муж отдал его в починку и через некоторое время принес домой еще более чистым, чем раньше. Ей пришлось взять его, поблагодарить и примириться с тем, что оно останется у нее.

Каждый вечер, каждое утро она, запершись у себя в комнате, снова против воли приступала к тщательному, терпеливому изучению этой незримой, гнусной разрушительной работы.

Лежа в постели, она долго не могла заснуть; она то и дело зажигала свечу и, не смыкая глаз, все думала о том, что бессонница и печаль

помогают неудержимо бегущему времени делать его страшное дело. Она слушала в ночной тишине монотонное, мерное «тик-так» маятника стальных часов, который, казалось, нашептывал ей: «Все прошло, все прошло, все прошло», — и сердце ее сжималось от такой невыносимой тоски, что она, уткнувшись в подушку, рыдала от отчаяния.

Когда-то она, как и все люди, понимала, что годы идут и влекут за собой перемены. Как и все люди, она каждую зиму, каждую весну, каждое лето говорила и другим, и себе: «Я очень изменилась с прошлого года». Но все еще красивая, хотя и несколько иной красотой, она не расстраивалась. А теперь она уже не могла спокойно смотреть на медленное шествие времен года — она вдруг увидела и поняла, что мгновенья улетают с чудовищной быстротой. Внезапно у нее возникло ощущение, что часы бегут, возникло ощущение незаметного течения, которое, если начать задумываться над этим, способно довести до безумия, — ощущение бесконечного следования друг за другом крошечных, торопливых секунд, грызущих тело и жизнь человека.

После тяжелой ночи ею надолго овладевала более или менее спокойная дремота в тепле постели; утром приходила горничная, отдергивала занавески и затапливала камин. А она оставалась в постели, усталая, сонная, не то бодрствующая, не то спящая, и в этом полузабытии вновь рождалась инстинктивная, самым Провидением дарованная людям надежда, которая озаряет и живит сердце и улыбку человека до конца его дней.

Теперь каждое утро, как только она вставала с постели, у нее возникала потребность помолиться и получить хоть какое-то облегчение и утешение.

Она опускалась на колени перед большим дубовым распятием — подарком Оливье, где-то разыскавшего эту редкую вещь, — и голосом души, каким люди говорят с самими собою, обращалась к божественному страдальцу с безмолвной и скорбной мольбой. Обезумев от желания, чтобы ее услышали и помогли ей, наивная в своем горе, как все верующие, преклоняющие колени, она не сомневалась, что он слышит ее, что он внимлет ее молитве и что, быть может, он сжалится над несчастной. Она не просила его сделать для нее то, что он никогда ни для кого не делал, — до самой ее смерти не отнимать у нее обаяние, изящество, свежесть; она просила лишь немного покоя и небольшой отсрочки. Конечно, она должна состариться, как должна и умереть. Но почему так скоро? Иные женщины долго-долго сохраняют красоту! И разве не может он сделать так, чтобы и она долго оставалась прекрасной? Ах, если бы тот, кто сам столько страдал,

по милосердию своему оставил ей еще хоть на два-три года ту долю очарования, которая нужна ей, чтобы нравиться!

Разумеется, она этого не говорила — она изливала душу в сбивчивых жалобах, исходивших из глубины ее существа.

Потом вставала с колен, садилась за туалетный столик, с таким же напряжением мысли, как на молитве, так же усердно принималась за дело, и пудра, притирания, карандашики, пуховки и щеточки на один день восстанавливали ее поддельную и непрочную красоту.

Глава 6

На бульваре у всех на устах были только два имени: *Эмма Эльсон* и *Монрозе*. Чем ближе подходили вы к Опере, тем чаще вы их слышали. Они бросались и в глаза — они были напечатаны на огромных афишах, расклеенных на тумбах, — в воздухе носилось ощущение какого-то события.

Тяжеловесное сооружение, именуемое «Национальной академией музыки», раздавшееся вширь под черным небом, обращало к толпившейся перед ним публике свой пышный, белеющий фасад и мраморные колонны, словно декорации, освещенные незримыми электрическими фонарями.

На площади конная полиция поддерживала порядок уличного движения; в бесчисленных экипажах, съезжавшихся сюда со всех концов Парижа, можно было разглядеть за опущенными стеклами пену светлых тканей и бледные лица.

Двухместные кареты и ландо одни за другими подъезжали к аркадам, где еще было место, на несколько секунд останавливались, и из них выходили закутанные в вечерние зимние манти, отделанные мехом, перьями или несметной цены кружевами, великосветские и прочие дамы — драгоценная, божественно изукрашенная плоть.

Снизу доверху знаменитой лестницы двигалось феерическое шествие, бесконечный поток женщин, одетых, как королевы; их грудь и уши метали бриллиантовые искры, а длинные платья волочились по ступеням.

Зал рано начал наполняться: никто не хотел упустить ни одной ноты знаменитых певцов, и по обширному партеру, залитому падавшим с люстры ослепительным электрическим светом, то и дело пробегали волны рассаживающихся по местам людей и громкий шум голосов.

Из боковой ложи, в которой уже сидели герцогиня, Аннета, маркиз, Бертен и де Мюзадье, видны были только кулисы, где переговаривались, бегали, кричали люди: рабочие сцены в блузах, какие-то господа во фраках, актеры в костюмах. А за огромным опущенным занавесом слышался глухой гул толпы, чувствовалось присутствие движущейся, возбужденной человеческой массы, волнение которой, казалось, проникая сквозь полотно, доходило до самых колосников. Давали Фауста.

Мюзадье рассказывал анекдоты о первых представлениях Фауста в Театре лирической оперы, о том, что почти провал сменился блестящим успехом, о первых исполнителях, об их манере петь каждую сцену. Аннета,

сидевшая вполоборота к нему, слушала его с жадным, молодым любопытством, с каким она относилась ко всему на свете, и время от времени бросала на своего жениха, который через несколько дней должен был стать ее мужем, полные нежности взгляды. Сейчас она любила его так, как любят неопытные сердца, то есть любила в нем все свои надежды на завтрашний день. Опынение первыми праздниками жизни и жгучая жажда счастья заставляли ее трепетать от радостного ожидания.

А Оливье, который все видел, все понимал, который спустился по всем ступеням тайной, бессильной и ревнивой любви, вплоть до самого горнила человеческого страдания, в котором сердце, кажется, шипит, как мясо на раскаленных углях, стоял в глубине ложи, впиваясь в них обоим взглядом человека, подвергаемого пытке.

Раздались три удара, и легкий, сухой стук дирижерской палочки по пюпитру сразу же прекратил все движения, покашливание и говор; потом, после нескольких минут полной тишины, зазвучали первые такты увертюры, наполняя зал незримой и всевластной мистерией музыки, которая проникает в наше тело, пробегает по нашим нервам и душам лихорадочным, поэтическим, явственно ощутимым трепетом, сливая с чистым воздухом, которым мы дышим, волну звуков, которые мы слушаем.

Оливье сел в глубине ложи; он содрогался от боли, словно музыка прикоснулась к его сердечным ранам.

Но, когда занавес поднялся, он снова встал и, на фоне декораций, изображавших кабинет алхимика, увидел задумчивого доктора Фауста.

По крайней мере раз двадцать слышал он эту оперу, он знал ее почти наизусть, и внимание его тотчас отвлеклось от сцены и устремилось в зрительный зал. Из их ложи был виден лишь уголок зала от партера до галерки, но зато эту часть публики, среди которой он различил немало знакомых лиц, он мог рассмотреть отлично. В партере ряд мужчин в белых галстуках походил на выставку знаменитостей — светских людей, художников, журналистов, — словом, тех, кто никогда не упустит случая быть там, где все. Он отмечал про себя и называл по именам женщин, сидевших в ложах. Графиня де Локрист, сидевшая в литерной ложе, была поистине очаровательна, а сидевшая чуть подалее маркиза д'Эблен, которая недавно вышла замуж, уже привлекала к себе бинокли. «Недурное начало», — подумал Бертен.

С неослабным вниманием, с явным сочувствием слушала публика тенора Монрозе, сетовавшего на свою жизнь.

«Какая горькая насмешка! — размышлял Оливье. — Вот Фауст, загадочный, величественный Фауст, поет о своем страшном разочаровании

и о ничтожестве всего сущего, а толпа с волнением думает о том, не изменился ли голос Монрозе!» Он стал слушать вместе с залом, и за пошлыми словами либретто, благодаря музыке, пробуждающей в глубине души чуткую восприимчивость, ему словно открылось сердце Фауста таким, каким в мечтах увидел его Гете.

Когда-то он прочитал эту трагедию, высоко оценил ее, но в душу ему она не запала, и вот теперь он внезапно постиг ее неизмеримую глубину, ибо в этот вечер ему казалось, что сам он становится Фаустом.

Слегка наклонившись над барьером ложи, Аннета вся превратилась в слух; по рядам пробегал одобрителный шепот: голос Монрозе был лучше поставлен и стал более насыщенным, нежели прежде.

Бертен закрыл глаза. Вот уже месяц, как все, что он видел, все, что он чувствовал, все, с чем он сталкивался в жизни, он каким-то образом связывал со своей страстью. И весь мир, и самого себя он отдавал в пищу этой своей навязчивой идее. Все прекрасное, все изысканное, что представлялось его взору, все прелестное, что он мог вообразить себе, он тотчас мысленно преподносил своей юной приятельнице, и у него не оставалось ни одной мысли, которой он не соединял бы со своим чувством.

Теперь в глубине его души ему слышались отзвуки жалоб Фауста, и у него возникало желание умереть, желание покончить со своими страданиями, со всеми унижениями своей безответной любви. Он смотрел на тонкий профиль Аннеты и видел сидевшего за ее спиной маркиза де Фарандаля, который тоже глядел на нее. Он чувствовал себя погибшим, конченным, старым человеком! Ах! Ничего больше не ждать, ни на что не надеяться, не иметь даже права желать, сознавать, что он не у дел, что он получил у жизни отставку, словно отслуживший свой срок чиновник, карьера которого кончена! Какая это невыносимая пытка!

Раздались аплодисменты: Монрозе покорила публику. И из-под земли выскочил Мефистофель — Лабарьер.

Оливье, еще ни разу не выдавший его в этой роли, снова стал слушать внимательно. Воспоминание об Обене, чей бас произвел на него такое сильное впечатление, и об обольстительном баритоне Фора на несколько минут отвлекло его мысли.

Но внезапно фраза, с неотразимой силой пропетая Монрозе, взволновала его до глубины души. Фауст говорил сатане:

Ты мне возврати счастливую юность
И в сердце зажги желанье любви.

И тенор предстал перед публикой в шелковом камзоле, со шпагой на боку, в берете с пером, изящный, юный и красивый слащавой красотой певца.

Послышался шепот. Монрозе был хорош собой и нравился женщинам. Оливье, напротив, передернуло от разочарования: при этой метаморфозе острота восприятия драматического произведения Гете исчезла. Теперь перед ним была лишь феерия, полная красивых музыкальных отрывков, и талантливые актеры, которых он теперь только слушал. Этот человек в камзоле, этот смазливый малый, выводивший рулады и щеголявший своими ляжками и своими нотками, ему не нравился. Это был совсем не тот неотразимый и мрачный, настоящий рыцарь Фауст, который соблазнит Маргариту.

Оливье снова сел, и ему вспомнилась только что слышанная им фраза:

Ты мне возврати счастливую юность
И в сердце зажги желанье любви.

Он шептал ее, грустно напевал в душе, не отводя глаз от белокурого затылка Аннеты, вырисовывавшегося в квадратном проеме ложи, и испытывал на себе всю горечь неосуществимого желания.

Монрозе закончил первое действие с таким блеском, что раздался взрыв восторга. Несколько минут по залу, точно гром, прокатывался грохот аплодисментов, топот и крики «браво». Во всех ложах видны были женщины, хлопавшие перчатками, а стоявшие позади них мужчины кричали и рукоплескали.

Занавес упал и дважды поднялся снова при неутихавшей буре оваций. Потом, когда занавес опустился в третий раз и отделил сцену от зрительного зала, герцогиня и Аннета все-таки аплодировали еще несколько секунд, и за это были особо вознаграждены чуть заметным поклоном тенора.

— Он нас заметил! — сказала Аннета.

— Какой изумительный артист! — воскликнула герцогиня.

А Бертен, наклонившись вперед, со смешанным чувством раздражения и презрения смотрел, как актер, провожаемый ураганом аплодисментов, уходит в кулису, слегка покачиваясь, вытягивая носки и положив руку на бедро, — словом, все еще сохраняя позу театрального героя.

Все заговорили о нем. Его успех у женщин наделал не меньше шума, чем его талант. Он объездил все столицы, всюду приводя в экстаз женщин;

осведомленные об его неотразимости, они, едва завидев его на сцене, уже чувствовали, как учащенно бьются их сердца. Впрочем, ходили слухи, будто его не трогает это сумасшествие и что он довольствуется своими актерскими триумфами. Мюзадье, который в присутствии Аннеты выражался весьма деликатно, рассказывал о жизни прекрасного артиста, а горячая голова — герцогиня находила понятными и простительными все безумства, на какие только можно было пойти ради него, — таким он казался ей обольстительным, элегантным, изысканным и таким редкостно прекрасным певцом.

— Да разве можно устоять перед этим голосом? — со смехом заключила она.

Оливье злился и становился желчным. По совести сказать, ему непонятно, как можно увлекаться каким-то шутком, постоянно изображающим людей, с которыми у него нет ничего общего, его подделкой под воображаемых героев, как можно увлекаться этим размалеванным манекеном, который готов ежевечерне играть любую роль, если за каждое представление получит определенную сумму?

— Вы завидуете этим людям, — сказала герцогиня. — Все вы — и светские люди, и художники — терпеть не можете актеров, потому что они пользуются большим успехом, чем вы.

И она повернулась к Аннете:

— Ну, деточка, ты еще только начинаешь жить и здраво смотришь на вещи. Как тебе нравится этот тенор?

— Я нахожу, что он очень хорош собой, — убежденно отвечала Аннета.

Три удара возвестили начало второго действия, и занавес поднялся над деревенским праздником.

Выход Эльсон был великолепен. Ее голос, казалось, тоже окреп, и владела она им теперь увереннее. Она воистину стала великой, превосходной, чудесной певицей, и ее мировая известность не уступала известности Бисмарка или Лессепса.

Когда Фауст устремился к ней, когда он своим завораживающим голосом пропел эту полную очарования фразу:

Осмелюсь предложить,
Красавица, вам руку,
Вас охранять всегда,
Вам рыцарем служить... —

А белокурая, такая хорошенькая и такая трогательная Маргарита ответила ему:

Ах, нет, нет! Будет мне слишком много в том чести
Не блещу я красою,
И, право, я не стою
Рыцарской руки —

По всему залу прокатилась могучая волна восторга.

Когда занавес опустился, в зале поднялся неистовый вопль; Аннета аплодировала так долго, что Бертену захотелось схватить ее за руки и заставить уgomониться. Его сердце терзалось новой мукой. За весь антракт он не произнес ни слова: его неотвязная злая дума даже за кулисами, даже в уборной преследовала ненавистного ему певца — он так и видел, как этот человек, который привел девочку в такое возбуждение, теперь снова мажет щеки белилами.

Занавес снова поднялся над сценой «В саду».

Какая-то любовная лихорадка мгновенно заразила весь зрительный зал; никогда еще эта музыка, похожая на дуновение поцелуя, не находила подобных исполнителей. Это уже были не знаменитые артисты Монрозе и Эльсон — это были два существа из идеального мира, и даже не столько два существа, сколько два голоса, — вечный голос мужчины, который полюбил, вечный голос женщины, которая уступает ему, — и голоса эти были подобны вздохам, в которых выливалась вся поэзия человеческого чувства.

Когда Фауст запел:

О, позволь, ангел мой,
На тебя наглядеться —

В звуках, излетающих из его уст, было столько обожания, столько восхищения и такая мольба, что жажда любви на мгновение охватила все сердца.

Оливье вспомнил, как он сам тихонько напевал эту фразу в парке Ронсьера, под окнами дома. До сих пор эти слова казались ему пошловатыми, а теперь вот они рвались из его груди, как последний крик страсти, как последняя мольба, последняя надежда и последняя милость,

которой он мог еще ждать в этой жизни.

А потом он уже ничего больше не слушал, ничего больше не слышал. Он увидел, что Аннета поднесла платок к глазам, и сердце его заколотилось в порыве острой до боли ревности.

Она плакала! Значит, ее сердце, ее женское сердце, еще ничего не знавшее, пробуждалось, оживало, волновалось. Здесь, так близко от него, совсем о нем не думая, она узнала, с какою силой любовь может потрясти человеческую душу, и это прозрение, это откровение она получила в дар от какого-то жалкого, распевающего паяца.

Ах, он уже не сердился на маркиза де Фарандаля, на эту дубину, которая ничего не видит, не знает, не понимает! Но как ненавидел он человека в облегающем трико, человека, озарившего новым светом юную девичью душу!

Ему хотелось броситься к ней, как бросаются к тому, кого вот-вот раздавит понесшая лошадь, схватить ее за руку, увести, утащить, сказать ей: «Уйдем отсюда! Умоляю вас, уйдем отсюда!» Как она слушала, как она трепетала! А он! Как страдал он! Он уже и прежде страдал, но страдал не так жестоко. Он вспомнил об этом, потому что боль от ревности возобновляется так же, как боль от вновь открывшейся раны. Сначала это было в Ронсьере — именно там, по дороге с кладбища, он в первый раз почувствовал, что она ускользает от него, что у него нет никакой власти над ней, над этой девочкой, своевольной, как молодое животное. Но там, когда она убегала от него, чтобы рвать цветы, он злился на нее, он прежде всего испытывал грубое желание остановить ее порыв, удержать подле себя ее тело; теперь же от него уходила ее душа, ее неуловимая душа. Ах, он снова ощущал это грызущее раздражение, которое теперь испытывал так часто при всевозможных малейших ударах, о которых стыдно говорить и которые оставляют неизгладимые рубцы на влюбленных сердцах! Он вспомнил все тягостные чувства, возникавшие у него от легких уколов ревности, сыпавшихся на него мелким градом изо дня в день. Каждый раз, как она обращала на что-то внимание, чем-то восхищалась, что-то принимала близко к сердцу, чего-то желала, он ревновал, ревновал незаметно и беспрестанно ко всему, что поглощало время, внимание, привлекало взгляды, вызывало веселость, удивление, симпатии Аннеты, потому что все это понемногу отнимало ее у него. Он ревновал ее ко всему, что она делала без его участия, ко всему, чего он не знал, к ее выездам из дому, к ее чтению, ко всему, что ей, по-видимому, нравилось; он ревновал ее к раненому офицеру, героически сражавшемуся в Африке, офицеру, с которым Париж носился целую неделю, к автору нашумевшего романа, к

неизвестному молодому поэту, которого она и в глаза не видала, но стихи которого декламировал Мюзадье, наконец ко всем мужчинам, которых расхваливали при ней, пусть даже в самых банальных выражениях, ибо когда мы любим женщину, мы не можем спокойно видеть, что она проявляет к кому-то интерес, хотя бы самый поверхностный. В нашем сердце живет тогда властная потребность, чтобы для нее не существовало никого в мире, кроме нас. Мы хотим, чтобы она не видала, не знала, не ценила никого Другого. Стоит нам заметить, что она отвернулась, чтобы посмотреть на кого-то или же узнав кого-то из знакомых, мы стремимся перехватить ее взгляд, и, если нам не удастся отвлечь его и всецело им завладеть, мы испытываем все муки ада.

Так мучился и Оливье при виде этого певца, который, если можно так выразиться, сеял и пожинал любовь в оперном зале; триумф тенора вызывал у него злобу на всех: и на женщин, безумствовавших в своих ложах, и на мужчин, этих глупцов, устраивавших овации фату.

Артист! Его называют артистом, великим артистом! Этот гаер, передававший чужие мысли, пользовался таким успехом, каким никогда не пользовались те, кому эти мысли принадлежали! Вот они, справедливость и разум светских людей, этих невежественных и претенциозных дилетантов, на которых всю жизнь работают лучшие мастера во всех областях искусства! Он смотрел, как они аплодируют, кричат, восхищаются, и давняя враждебность, всегда таившаяся в глубине его тщеславной души, души выскочки, усиливалась, превращалась в бешеную злобу на этих глупцов, всемогущих лишь по праву рождения и богатства.

До конца спектакля он молчал, снедаемый своими мыслями; потом, когда последняя буря восторга утихла, он предложил руку герцогине, а маркиз взял под руку Аннету. Они спустились по той же большой лестнице, вместе с потоком женщин и мужчин, в великолепном, медленном каскаде голых плеч, роскошных Платьев и черных фраков. Потом герцогиня, Аннета, ее отец и маркиз сели в ландо, а Оливье Бертен остался с Мюзадье на площади Оперы.

Вдруг он почувствовал нечто вроде нежности к этому человеку или, вернее, то естественное влечение, которое испытываешь к соотечественнику, встреченному вдали от родины: ведь теперь он чувствовал, что затерялся в этом чуждом и равнодушном, шумном скоплении народа, а с Мюзадье можно было поговорить об Аннете.

— Ведь вы еще не домой! — сказал он, беря инспектора под руку. — Давайте пройдемся: погода хорошая.

— С удовольствием.

Они направились к св. Магдалине в толпе полуночников, среди этого недолгого, но бурного оживления, затопляющего бульвары во время театрального разъезда.

Мюзадье был копилкой всяких новостей и тем для разговоров на злобу дня, которые Бертен называл его «сегодняшним меню», и сейчас инспектор тоже открыл фонтан своего красноречия и коснулся двух-трех особенно интересовавших его предметов. Художник шел с ним под руку, не прерывая его, но и не слушая, твердо уверенный в том, что вот-вот наведет его на разговор о ней; он шагал, ничего не видя вокруг, весь отдавшись своей любви. Он шагал, обессиленный приступом ревности, разбитый так, словно упал и расшибся, подавленный сознанием того, что ему больше нечего делать в этом мире.

И он будет страдать все сильнее и сильнее, зная, что ему уже нечего ждать. Он будет влачить безрадостные дни один за другим, издали видя, как она живет, видя, что она счастлива, что она любима и что она, несомненно, любит сама. А любовник! Может быть, и у нее будет любовник, как был любовник у ее матери. Он ощущал в себе такое множество разнообразных и глубоко запятанных источников страдания, такой прилив горя, он предвидел столько неизбежных несчастий, он чувствовал себя столь безвозвратно погибшим, к сердцу его подступила такая невообразимая тоска, что он и представить себе не мог, чтобы кому-то еще выпали на долю такие страдания. Внезапно на память ему пришли детские выдумки поэтов о бессмысленном труде Сизифа, о физической жажде Тантала, о выклеываемой печени Прометея! О, если бы им довелось увидеть, если бы им довелось узнать, что такое безумная любовь пожилого мужчины к молодой девушке, с какой силой изобразили бы они омерзительные тайные стремления человека, который уже не может быть любимым, муки бесплодного желания и белокурую головку, терзающую старое сердце больнее, чем клюв орла!

Мюзадье продолжал разглагольствовать, и Бертен перебил его, почти невольно прошептав под властью навязчивой идеи:

— Сегодня вечером Аннета была очаровательна!

— Да, прелестна...

Чтобы помешать Мюзадье поймать прерванную нить его размышлений, художник прибавил:

— Она лучше, чем была ее мать. Тот рассеянно согласился, повторив несколько раз подряд:

— Да, да, да!

Но мысль его еще не задержалась на этом новом предмете беседы.

Тогда Оливье, сиюсь привлечь к этой теме его внимание, пустился на хитрость, чтобы связать ее с излюбленной темой Мюзадье.

— Когда она выйдет замуж, у нее будет один из первых салонов в Париже, — продолжал он.

Этого было достаточно для того, чтобы такой человек, каким был инспектор изящных искусств, с головой ушедший в светскую жизнь, принялся со знанием дела определять то место, которое займет в высшем французском обществе маркиза де Фарандаль.

Бертен слушал его и представлял себе Аннету в большой, ярко освещенной гостиной, окруженную мужчинами и женщинами. Эта картина тоже вызвала у него ревность.

Сейчас они шли по бульвару Мальзерб. Проходя мимо дома Гильруа, художник поднял глаза. Сквозь щели между занавесками как будто пробивался свет. И у него возникло подозрение, что герцогиня и ее племянник были приглашены на чашку чаю. Его обуяла ярость, заставившая его жестоко страдать.

Он по-прежнему крепко держал Мюзадье под руку и время от времени каким-нибудь возражением побуждал его развить еще одну мысль о будущей молодой маркизе. Даже этот пошляк, говоря о ней, вызывал ее образ, реявший вокруг них в ночи.

Они подошли к дому художника на авеню Вилье.

— Не зайдете ли? — спросил Бертен.

— Нет, спасибо. Уже поздно, я хочу спать.

— Ну зайдите на полчаса, поболтаем еще!

— Нет, право, поздно!

Мысль о том, что он останется один после нового потрясения, которое он сейчас испытал, наполняла душу Оливье ужасом. Рядом с ним стоит человек, и он его не отпустит.

— Войдите же! Я давно собираюсь подарить вам какой-нибудь этюд и хочу, чтобы вы выбрали сами.

Мюзадье, зная, что художники не всегда расположены делать подарки и что обещания забываются скоро, не мог упустить такой случай. В качестве инспектора изящных искусств он был уже обладателем целой галереи, собранной со знанием дела.

— Следую за вами, — сказал он.

Они вошли.

Разбуженный камердинер принес грог; некоторое время шел вялый разговор о живописи. Бертен стал показывать Мюзадье этюды, прося его взять себе тот, который ему больше всего понравится; Мюзадье ни на чем

не мог остановиться; его сбивало с толку газовое освещение, при котором он плохо разбирался в тонах. Наконец он выбрал группу девочек, прыгающих через веревочку на тротуаре, и почти тотчас же выразил желание уйти и унести подарок.

— Я пришлю его вам, — сказал художник.

— Нет, лучше я возьму сейчас, чтобы полюбоваться перед тем, как лечь в постель.

Ничто не могло удержать его, и Оливье Бертен остался один в своем особняке, в этой тюремной камере его воспоминаний и мучительного волнения.

Когда на следующее утро слуга вошел к нему с чаем и с газетами, он увидел, что его хозяин сидит на кровати; он был так бледен, что лакей испугался.

— Сударь! Вам нездоровится? — спросил он.

— Пустяки, легкая мигрень.

— Сударь! Не принести ли вам какое-нибудь лекарство?

— Нет. Какая погода?

. — Дождик идет, сударь.

— Хорошо, можете идти.

Человек поставил на простой маленький столик чайный прибор, положил газеты и вышел.

Оливье взял Фигаро и развернул его. Передовая статья была озаглавлена: Современная живопись. Это была хвалебная, написанная в дифирамбическом тоне статья о молодых художниках, которые, будучи бесспорно одаренными колористами, злоупотребляли этим своим даром ради эффекта и выдавали себя за революционеров и гениальных новаторов.

Как и все представители старшего поколения, Бертен терпеть не мог этих новых пришельцев, возмущался их нетерпимостью, оспаривал их теории. И едва он взялся за статью, как в нем уже начал закипать гнев, который быстро вспыхивает в изнервничавшемся человеке; потом, скользнув глазами ниже, он заметил свое имя, и, словно удар кулаком под ложечку, его сразили следующие слова, которыми заканчивалась какая-то фраза: «устаревшее искусство Оливье Бертена...» Он всегда был чувствителен и к критическим замечаниям, и к похвалам, но в глубине души, несмотря на вполне естественное тщеславие, он больше страдал, когда его ругали, чем радовался, когда его хвалили: это коренилось в его неуверенности в себе, вскормленной вечными сомнениями. Однако в былые времена, в эпоху триумфов, ему кадили так усердно, что это заставляло его забывать о булавочных уколах. А теперь, при нескончаемом

наплыве новых художников и новых поклонников искусства, восторженные голоса раздавались все реже, а хулители становились все смелее. Он чувствовал, что его зачислили в батальон старых талантов, которых молодежь отнюдь не признавала своими учителями, а так как он был столь же проницателен, сколь и умен, то сейчас он страдал от самых тонких намеков не меньше, чем от прямых нападок.

Но никогда еще ни одна рана, нанесенная его самолюбию художника, не была столь кровоточащей, как эта. Он задыхался; он несколько раз перечитал статью, стараясь уловить малейшие оттенки. Их — его и еще нескольких его собратьев — выбрасывали в корзину, выбрасывали с оскорбительной развязностью; он встал с постели, шепотом повторяя слова, которые, казалось, не сходили с его губ:

— Устаревшее искусство Оливье Бертена... Никогда еще не знал он такой печали, такого упадка духа, такого отчетливого ощущения, что пришел конец всему — конец его физическому и духовному существованию, — и никогда еще его отчаявшаяся душа не погружалась в такую скорбь. До двух часов просидел он в кресле перед камином, протянув ноги к огню, будучи не в силах шевельнуться, заняться хоть чем бы то ни было. Потом у него возникла потребность, чтобы его утешили, потребность пожать верные руки, взглянуть в преданные ему глаза, потребность, чтобы его пожалели, помогли ему, дружески обласкали. И он, как всегда, отправился к графине.

Когда он вошел в гостиную, Аннета была там одна; стоя к нему спиной, она быстро надписывала адрес на какой-то записке. На столе рядом с нею лежал развернутый номер Фигаро. Бертен увидел одновременно и газету и девушку и растерянно остановился, не смея сделать ни шагу дальше. О, если она прочитала! Она обернулась, но, занятая, вся поглощенная своими женскими заботами, быстро произнесла:

— А, здравствуйте, господин художник! Извините, что я вас покидаю, но наверху меня ждет портниха, а вы понимаете, что портниха перед свадьбой — это дело важное. Я предоставляю вам маму — она там спорит и обсуждает мои туалеты с этой мастерицей. А если мама мне понадобится, я потребую ее у вас на несколько минут.

И она скрылась почти бегом, чтобы ясно показать ему, как ей некогда.

Этот внезапный уход без единого милого слова, без единого ласкового взгляда, обращенного к нему, — а ведь он так... так любил ее. — потряс его. Взгляд его снова остановился на Фигаро, и он подумал: «Она прочла! Меня высмеивают, отрицают... Она больше не верит в меня... Я для нее уже ничто!» Он сделал к газете шаг, другой — так подходят к человеку,

чтобы дать ему пощечину. Потом сказал себе: «А вдруг она еще не читала? Она ведь так занята сегодня! Но об этом, конечно, заговорят при ней — вечером или за обедом, — и ей тоже захочется прочитать».

Невольным, почти бессознательным движением, быстро, как вор, он схватил газету, сложил, перегнул еще раз и сунул в карман.

Вошла графиня. Увидев искаженное, мертвенно-бледное лицо Оливье, она мгновенно поняла, что он достиг предела страданий.

Она бросилась к нему в каком-то порыве, в едином порыве всего своего бедного, тоже разрывавшегося сердца и своего бедного, тоже измученного тела. Положив руки ему на плечи, глядя ему прямо в глаза, она произнесла:

— О, как вы несчастны!

На сей раз он уже ничего не отрицал; горло его сжимали спазмы, — Да... да... да! — лепетал он.

Она чувствовала, что он вот-вот разрыдается, и увлекла его в самый темный угол гостиной, где за небольшими ширмами, обтянутыми старинным шелком, стояли два кресла. Они сели здесь, за этой тонкой вышитой стенкой; к тому же их скрывал серый сумрак дождливого дня.

Она мучилась от боли, но прежде всего жалела Оливье.

— Мой бедный Оливье, как вы страдаете! — произнесла она.

Он положил седую голову на плечо подруги.

— Больше, чем вы думаете, — сказал он.

— О, я это знала! — с грустью прошептала она. — Я все чувствовала. Я видела, как это зарождалось и как вызревало.

Он ответил так, словно она обвиняла его:

— Я в этом не виноват, Ани.

— О, я знаю!.. Я ни в чем не упрекаю вас!.. Чуть повернувшись к Оливье, она нежно прикоснулась губами к его глазу и почувствовала на нем горькую слезу.

Она вздрогнула так, словно выпила каплю отчаяния, и повторила несколько раз подряд:

— Ах, бедный друг мой... бедный друг мой... бедный друг мой...

И после минутного молчания прибавила:

— В этом виноваты наши сердца, которые не состарились. Я чувствую, что мое еще так молодо!

Он попытался заговорить, но не мог: рыдания душили его. Прижавшись к нему, она слышала, как тяжело дышит его грудь. И вдруг ею вновь овладела эгоистическая тоска любви, снедавшая ее уже так давно, и она сказала тем душераздирающим голосом, каким люди говорят об

ужасном несчастье:

— Господи, как вы ее любите!

— О да, я люблю ее! — снова признался он. Она призадумалась.

— А меня? Меня вы никогда так не любили? — продолжала она.

Он не стал возражать: он переживал теперь одну из таких минут, когда люди говорят всю правду.

— Нет, я был тогда слишком молод! — прошептал он.

Она удивилась.

— Слишком молоды? Ну и что же?

— Ну, и жизнь была слишком прекрасна. Только в нашем возрасте можно любить самозабвенно.

— А то, что вы испытываете близ нее, похоже на то, что вы испытывали близ меня? — спросила она.

— И да, и нет... и, тем не менее, это почти одно и то же. Я любил вас так, как только можно любить женщину. И ее я люблю так же, как вас, потому что она — это вы; но эта любовь стала чем-то непреодолимым, чем-то пагубным, чем-то таким, что сильнее смерти. Я объят ею, словно горящий дом пламенем.

Она почувствовала, что жалость ее испарилась под дыханием ревности, и утешающе заговорила:

— Мой бедный друг! Через несколько дней она выйдет замуж и уедет. А не видя ее, вы, несомненно, излечитесь.

Он покачал головой.

— Нет, я погиб, погиб безвозвратно!

— Да нет, право же, нет! Вы не увидите ее целых три месяца. Этого достаточно. Ведь вам было вполне достаточно трех месяцев, чтобы полюбить ее больше, чем меня, а меня вы знаете уже двенадцать лет!

В избытке горя он взмолился:

— Ани, не покидайте меня!

— Что же я могу сделать, друг мой?

— Не оставляйте меня одного.

— Я буду навещать вас, когда бы вы ни захотели.

— Нет. Приглашайте меня сюда как можно чаще.

— Но вы будете вместе с ней!

— И вместе с вами.

— Вы не должны видеть ее до свадьбы.

— О Ани!

— Или, во всяком случае, вы должны видеть ее как можно реже.

— Можно, я посижу у вас вечером?

— Нет, в таком состоянии нельзя. Вы должны развлечься, пойти в клуб, в театр, куда хотите, только не оставаться здесь.

— Прошу вас!

— Нет, Оливье, это невозможно. И потом у нас будут обедать люди, присутствие которых взволнует вас еще больше.

— Герцогиня... и., он?..

— Да — Но ведь вчера я провел с ними весь вечер!

— Лучше уж не говорите об этом! То-то сегодня вы в таком превосходном настроении!

— Обещаю вам, что буду совершенно спокоен.

— Нет, это невозможно — В таком случае, я уйду.

— Куда вы так торопитесь?

— Мне хочется походить.

— Вот и хорошо, ходите побольше, ходите до самого вечера, чтобы смертельно устать, и тогда ложитесь. Он встал.

— Прощайте, Ани!

— Прощайте, дорогой друг! Я заеду к вам завтра утром. Хотите, я совершу такую же страшную неосторожность, как бывало, — сделаю вид, что позавтракала в полдень дома, а в четверть второго буду завтракать у вас?

— Да, очень хочу. Как вы добры!

— Я просто люблю вас.

— И я вас люблю.

— О, не говорите больше об этом!

— Прощайте, Ани!

— Прощайте, дорогой друг! До завтра!

— Прощайте!

Он без конца целовал ей руки, потом поцеловал в виски, потом в уголки губ. Теперь глаза у него были сухие, вид решительный. Уже выходя из комнаты, он вдруг схватил ее, заключил в объятия и, прильнув губами к ее лбу, казалось, впивал, вдыхал всю ее любовь к нему.

И быстро, не оглядываясь, вышел.

Оставшись одна, графиня упала в кресло и зарыдала. Она просидела бы так до позднего вечера, но за ней зашла Аннета. Чтобы дать себе время отереть красные глаза, графиня сказала:

— Мне надо черкнуть несколько слов, детка. Иди наверх, я сию секунду приду.

До самого вечера она вынуждена была заниматься серьезной проблемой приданого.

Герцогиня и ее племянник обедали у Гильруа по-семейному.

Только успели они сесть за стол, все еще обсуждая вчерашний спектакль, как вошел метрдотель с тремя огромными букетами в руках, — Господи, что это такое? — удивилась де Мортмен.

— Какие красивые! — воскликнула Аннета. — Кто бы это мог их прислать?

— Конечно, Оливье Бертен, — отвечала мать.

С тех пор, как он ушел, она все время думала о нем. Он показался ей таким мрачным, таким трагичным, она так ясно видела, в каком он безысходном горе, так мучительно отдавалась в ней эта боль, так сильно, так нежно, так безгранично любила она его, что сердце ее сжималось от зловещих предчувствий.

Во всех трех букетах, действительно, оказались визитные карточки художника На каждой из них он написал карандашом имена графини, герцогини и Аннеты.

Герцогиня де Мортмен спросила:

— Уж не болен ли ваш друг Бертен? По-моему, вчера он выглядел очень плохо.

— Да, он беспокоит меня, хотя ни на что не жалуется, — отвечала графиня де Гильруа — С ним происходит то же, что со всеми нами: он стареет, — вмешался ее муж, — и за последнее время он постарел особенно сильно. Впрочем, по-моему, холостяки сдают как-то сразу. Они разваливаются куда быстрее, чем наш брат. Он, в самом деле, очень изменился.

— О да! — вздохнула графиня. Фарандаль вдруг перестал шептаться с Анкетой и сказал:

— Сегодня утром в Фигаро напечатана очень неприятная для него статья Любые нападки на талант ее Друга, любой неприязненный намек выводили графиню из себя.

— Ах, — сказала она, — такой выдающийся человек, как Бертен, не станет обращать внимания на подобные выходки!

— Как? Неприятная для Оливье статья? — удивился граф. — А я и не прочитал! На какой странице?

— На первой, — отвечал маркиз, — в самом начале, под заглавием Современная живопись. Тут депутат перестал удивляться:

— Ну, все понятно! Потому-то я и не прочел ее: ведь это о живописи.

Присутствующие улыбнулись: они прекрасно знали, что, кроме политики и сельского хозяйства, граф де Гильруа почти ничем не интересуется.

Разговор перешел на другие темы, потом все отправились пить кофе в гостиную. Графиня ничего не слушала и еле отвечала на вопросы: ее преследовала беспокойная мысль о том, что делает теперь Оливье Где он? Где он обедал? Где мыкается в эту минуту со своей неисцелимой тоской? Теперь она горько раскаивалась в том, что отпустила его, не удержала; она так и видела, как он бродит по улицам, грустный, одинокий, бесприютный, гонимый своим горем.

До самого отъезда герцогини и ее племянника она почти не разговаривала, терзаемая смутным, суеверным страхом; затем легла в постель и так лежала в темноте с открытыми глазами, думая об Оливье!

Прошло много-много времени, как вдруг ей послышался звонок в передней. Она вздрогнула, села и прислушалась. В ночной тишине вторично продребезжал звонок.

Она соскочила с кровати и изо всех сил нажала кнопку электрического звонка, чтобы разбудить горничную. Потом со свечой в руке побежала в прихожую.

Она спросила через дверь:

— Кто там?

Незнакомый голос ответил:

— Письмо.

— От кого?

— От доктора.

— От какого доктора?

— Не знаю, тут про несчастный случай.

Не колеблясь больше, она отворила дверь и очутилась лицом к лицу с извозчиком в непромокаемом плаще. Он протянул ей бумажку. Она прочитала:

«Его сиятельству графу де Гильруа. — Весьма срочное».

Почерк был незнакомый.

— Войдите, мой друг, — сказала она, — присядьте и подождите меня.

Перед дверью комнаты мужа сердце ее забилося так сильно, что она даже не смогла окликнуть его. Она постучала в деревянную дверь металлическим подсвечником. Но граф спал и ничего не слышал.

Тогда, нервничая, теряя терпение, она заколотила в дверь ногой и услышала сонный голос:

— Кто там? Который час?

— Это я, — отвечала она. — Какой-то извозчик привез тебе срочное письмо, я принесла его Случилось несчастье.

Он проговорил из-за полога:

— Сейчас встану. Иду, иду.

И минуту спустя появился в халате. Одновременно с ним вбежали двое слуг, разбуженных звонками. Увидев, что в столовой сидит на стуле незнакомый человек, они растерялись и остоленели.

Граф взял письмо и принялся вертеть его в руках.

— Что за притча? Ничего не понимаю! — бормотал он.

— Да читай же! — воскликнула она в лихорадочном возбуждении.

Он разорвал конверт, развернул письмо, вскрикнул от изумления и оторопело посмотрел на жену.

— Господи, что там такое? — спросила она.

От сильного волнения он почти не мог говорить.

— Большое несчастье!.. — наконец пролепетал он. — Большое несчастье!.. Бертен попал под экипаж!

— Погиб? — вскричала она.

— Нет, нет, почти, — отвечал граф.

Она выхватила у него из рук письмо, которое он протянул ей, и прочитала:

«Милостивый государь! Только что случилось большое несчастье. Нашего друга, знаменитого художника г-на Оливье Бертена сшиб омнибус и переехал колесом. Мне еще неясно, насколько серьезны повреждения; исход катастрофы может быть двояким: и скорая смерть, и относительное благополучие. Г-н Бертен настоятельно просит Вас и умоляет ее сиятельство графиню немедленно приехать к нему. Надеюсь, милостивый государь, что ее сиятельство и Вы не откажетесь исполнить желание нашего общего друга, который, возможно, не доживет до утра.

Доктор де Ривиль».

Графиня не сводила с мужа широко раскрытых, полных ужаса глаз. Затем по ней словно пробежал электрический ток, и она обрела то мужество, которое порою, в минуту опасности, делает женщину самым отважным существом на свете.

— Скорее одеваться! — приказала она служанке.

— Что прикажете подать? — спросила горничная.

— Все равно. Что хотите. Жак, — обратилась она к мужу, — будь готов

через пять минут.

Потрясенная до глубины души, она направилась к себе, но, увидев все еще дожидавшегося извозчика, спросила:

— Ваш экипаж здесь?

— Да, сударыня.

— Хорошо, мы поедem с вами.

И побежала к себе в спальню.

В безумной спешке она принялась одеваться, судорожно застегивая крючки, завязывая тесемки, узлы, напяливая и как попало натягивая на себя платье, потом собрала и кое-как скрутила волосы; она видела в зеркале свое бледное лицо и блуждающие глаза, но теперь она об этом не думала.

Накинув мантию, она бросилась на половину мужа, который был еще не готов, и потащила его за собой.

— Едем, — говорила она, — подумай: ведь он может умереть!

Граф растерянно плелся за нею, спотыкаясь, силясь разглядеть ступеньки неосвещенной лестницы, нащупывая их ногами, чтобы не упасть.

Ехали они быстро и молча. Графиня дрожала так сильно, что у нее стучали зубы; она смотрела в окошко, как проносились газовые рожки, окутанные пеленою дождя. Тротуары блестели, бульвар был пустынен, ночь стояла зловещая. Подъехав к дому художника, они увидели, что дверь распахнута; в освещенной швейцарской никого не было.

Навстречу им на верхнюю площадку лестницы вышел врач — доктор де Ривиль, седенький, низенький, полненький человечек, выхоленный и учтивый. Он почтительно поклонился графине и пожал руку графу.

Задышавшись так, словно, поднявшись по лестнице, она исчерпала весь запас воздуха в легких, графиня спросила:

— Ну что, доктор?

— Что ж, сударыня, я надеюсь, что дело не столь серьезно, как показалось мне в первый момент.

— Значит, он не умрет? — вскричала она.

— Нет. Не думаю.

— Вы ручаетесь?

— Нет. Я хочу сказать одно: я надеюсь, что имею дело с сильным ударом в области живота без повреждений внутренних органов.

— Что вы называете повреждениями?

— Разрывы.

— Откуда вы знаете, что у него их нет?

— Я так предполагаю.

— Ну, а если они есть?
— О! Тогда это дело серьезное.
— И он может умереть?

— Да.

— Очень скоро?

— Очень скоро. Это дело нескольких минут, а то и секунд. Но вы не волнуйтесь, сударыня — я уверен, что он поправится недели через две.

Она слушала с глубоким вниманием, Стараясь все узнать и все понять.

— Какой разрыв может быть у него? — продолжала она.

— Например, разрыв печени.

— А это очень опасно?

— Да... Но я был бы удивлен, если бы теперь наступило какое-нибудь осложнение. Войдемте к нему. Это ему нисколько не повредит, напротив, — он ждет вас с таким нетерпением!

Первое, что увидела графиня, войдя в комнату, было иссиня-бледное лицо на белой подушке. Свечи и пламя камина освещали его, обрисовывали профиль, сгущали тени; графиня различила глаза на этом мертвом лице — они глядели на нее.

Все ее мужество, вся энергия, вся решимость разом исчезли — это было осунувшееся, искаженное лицо умирающего. Ведь она видела его совсем недавно, и вот во что он превратился; это был призрак. «О, господи!» — беззвучно прошептала она и, дрожа от ужаса, подошла к нему.

Чтобы успокоить ее, он попытался улыбнуться, но вместо улыбки на лице его появилась страшная гримаса.

Подойдя к постели, она осторожным движением положила обе руки на руку Оливье, вытянутую вдоль тела.

— О, мой бедный друг! — еле выговорила она.

— Ничего! — не повернув головы, совсем тихо сказал он.

Она смотрела на него, потрясенная этой переменой. Он был так бледен, словно в жилах у него не осталось и капли крови, щеки ввалились, как будто он всосал их, а глаза запали так глубоко, точно их втянули внутрь на ниточке.

Он прекрасно понял, что его подруга в ужасе, и вздохнул.

— В хорошем же я виде!

Все еще не отводя от него пристального взгляда, она спросила:

— Как это случилось?

Ему стоило больших усилий заговорить, и по лицу его то и дело пробегали нервные судороги.

— Я не смотрел по сторонам... я думал о другом... О да... совсем о

другом... и какой-то омнибус сшиб меня и переехал мне живот...

Слушая его, она словно видела все это своими глазами.

— Вы разбились до крови? — спросила она со страхом.

— Нет. Я только немного ушибся... и немного помят.

— Где это произошло? — спросила она.

— Точно не знаю. Далеко отсюда, — совсем тихо ответил он.

Доктор подкатил графине кресло, и она села. Граф стоял у изножия кровати, повторяя сквозь зубы.

— Ах, бедный Друг мой... бедный друг мой!.. Какое ужасное несчастье!

Для него и в самом деле это было большое горе — он очень любил Оливье.

— Но где же это случилось? — повторила графиня.

— Я и сам толком не знаю, или, вернее, не могу взять в толк, — отвечал доктор. — Где-то около Гобеленов, почти за городом! По крайней мере извозчик, который доставил его домой, сказал, что привез его из какой-то аптеки этого района, а в аптеку его принесли часов в девять вечера!

Наклонившись к Оливье, он спросил:

— Правда, что это случилось около Гобеленов? Бертен закрыл глаза, как бы стараясь припомнить.

— Не знаю, — прошептал он.

— Но куда же вы шли?

— Я уже не помню. Шел, куда глаза глядят.

У графини невольно вырвался стон; ей не хватало воздуха; потом она вытащила из кармана платок, прижала его к глазам и отчаянно разрыдалась.

Она понимала, она догадывалась! Что-то невыносимо тяжелое легло ей на душу, ее терзали угрызения совести: зачем она не оставила Оливье у себя, зачем она выгнала его, вышвырнула на улицу? И вот он, пьяный от горя, упал под омнибус.

Все таким же глухим голосом он проговорил:

— Не плачьте. Мне от этого только тяжелее. Сделав над собою страшное усилие, она перестала плакать, отняла от лица платок; ни один мускул не дрогнул больше на ее лице, и лишь из широко раскрытых глаз, которых она не отводила от Оливье, медленно текли слезы.

Они неподвижно глядели друг на друга, соединив руки на простыне. Они глядели друг на друга, забыв о том, что здесь находятся люди, и в их взглядах читалось сверхчеловеческое волнение.

Только между ними двумя быстро, безмолвно и грозно вставали все их воспоминания, вся их, тоже раздавленная, любовь, все, что они вместе пережили, все, что соединяло и сливало их жизни в единый поток.

Они глядели друг на друга, и их охватывало непреодолимое желание о столь многом поговорить, столь много сокровенного и печального услышать, им так много надо было еще высказать, что слова сами рвались с их уст. Она поняла, что необходимо любой ценой удалить обоих мужчин, стоявших позади нее, что она должна найти какой-то способ, придумать какую-то хитрость, что на нее должно снизойти вдохновение, — ведь она так Изобретательна! И она стала ломать себе голову, не отводя глаз от Оливье.

Ее муж и доктор тихо разговаривали. Речь шла о том, какой уход нужен Бертену.

— Вы пригласили сиделку? — спросила графиня, обернувшись к врачу.

— Нет. Я считаю, что целесообразнее будет прислать дежурного врача: он с большим знанием дела сможет следить за изменениями в состоянии пострадавшего.

— Пришлите и сиделку, и дежурного врача. В таких случаях лишних забот не бывает. Нельзя ли вызвать их прямо сейчас, на эту ночь — ведь вы не останетесь здесь до утра?

— Нет, я, в самом деле, собираюсь домой. Я здесь уже четыре часа.

— Но по дороге домой пришлите сиделку и дежурного врача!

— Ночью это довольно трудно. Во всяком случае, я попытаюсь.

— Это необходимо!

— Пообещать-то они могут, но вот приедут ли, это уже другой вопрос.

— С вами поедет мой муж и привезет их волей или неволей.

— Но нельзя же вам, сударыня, оставаться здесь одной!

— Мне!.. — воскликнула она; это был крик, в котором слышался вызов, негодующий протест против какого бы то ни было сопротивления ее воле.

Властно, — когда люди говорят таким тоном, им не возражают, — она распорядилась обо всем, что нужно было сделать. Дежурный врач и сиделка должны прийти не позже, чем через час, на случай каких-либо непредвиденных осложнений. Чтобы доставить их сюда, кто-то должен поднять их с постели и привезти. Сделать это может только ее муж. А с больным останется она: это ее долг и ее право. Она всего-навсего исполнит роль друга и роль женщины. К тому же, она так хочет, и никто не сможет переубедить ее.

Ее доводы были разумны. С ними пришлось согласиться; решено было так и сделать.

Она встала, снедаемая желанием, чтобы они ушли; ей хотелось, чтобы они были уже далеко, хотелось поскорее остаться наедине с Бертенем. Теперь уже она слушала распоряжения врача, стараясь хорошенько понять его, все запомнить, ничего не забыть, чтобы в его отсутствие не совершить ни малейшей оплошности. Камердинер художника, стоявший рядом с нею, тоже слушал; за ним стояла его жена, кухарка Бертена, помогавшая при первой перевязке, и кивала головой в знак того, что и она все понимает. Повторив, как заученный урок, все указания врача, графиня стала торопить обоих мужчин.

— Возвращайся скорее, главное — возвращайся скорее! — твердила она мужу.

— Я подвезу вас: у меня двухместная карета, — сказал графу доктор. — Она быстро доставит вас и назад. Вы будете здесь через час.

Перед тем, как уехать, врач снова долго осматривал пострадавшего, желая увериться в том, что состояние его удовлетворительно.

Гильруа все еще колебался.

— Не считаете ли вы, что мы с вами поступаем неосторожно? — спросил он.

— Нет. Опасности нет. Ему нужны покой и отдых. Пусть только госпожа де Гильруа не позволяет ему говорить и сама пусть говорит с ним как можно меньше.

— Значит, с ним нельзя разговаривать? — дрогнувшим голосом переспросила графиня.

— Ни в коем случае, сударыня. Сядьте в кресло и посидите около него. Он будет чувствовать, что он не один, и ему станет лучше; но ему нельзя утомляться, а стало быть, нельзя разговаривать, нельзя даже думать. Я приеду к девяти утра. До свидания, сударыня, честь имею кланяться!

Низко поклонившись, он вышел, сопровождаемый графом, который твердил:

— Не волнуйся, дорогая. Не пройдет и часу, как я буду здесь, и ты сможешь вернуться домой.

Они ушли; она слышала стук запираемой двери в нижнем этаже, потом гроыхание кареты, покотившей по улице.

Лакей и кухарка оставались в комнате, ожидая приказаний. Графиня отпустила их.

— Идите, — сказала она, — я позвоню, если мне что-нибудь понадобится.

Они тоже вышли, и она осталась с ним одна. Она подошла вплотную к его кровати, положила руки на края подушки, по обе стороны любимого лица, и наклонилась, неотрывно глядя на него. Потом, прильнув к нему, так что слова ее как будто касались его лица, спросила:

— Вы сами бросились под омнибус?

Снова попытавшись улыбнуться, он ответил:

— Нет, это он бросился на меня.

— Неправда, это вы!

— Нет, уверяю вас, это он!

После нескольких минут молчания, тех минут, когда души точно сливаются во взглядах, она прошептала:

— О, мой дорогой, дорогой Оливье! Подумать только, что я отпустила, что я не удержала вас!

— Все равно, это случилось бы со мной не сегодня, так завтра, — убежденно ответил он.

Они снова посмотрели друг на друга, стараясь прочесть самые сокровенные мысли.

— Я думаю, что мне конец. Мне так больно! — вновь заговорил он, — Вам очень больно? — пролепетала она.

— О, да!

Наклонившись к нему еще ниже, она коснулась его лба, потом глаз, потом щек медленными, бережными, осторожными поцелуями — так она словно ухаживала за больным. Она чуть притрагивалась к нему краями губ; слышно было лишь ее легкое дыхание — так целуют дети. И длилось это долго, очень долго! Он не мешал этому падавшему на него дождю нежных и тихих ласк, которые, казалось, успокаивали и освежали его, ибо его искаженное лицо подергивалось уже не так часто, как раньше.

Потом он сказал:

— Ани!

Она перестала целовать его, чтобы лучше слышать.

— Что, мой друг?

— Вы должны обещать мне одну вещь.

— Обещаю вам сделать все, что хотите!

— Поклянитесь, что, если я не умру до завтра, вы приведете ко мне Аннету... один раз, только один раз! Мне так не хочется умереть, не увидев ее!.. Подумайте... что завтра... в это время... я, быть может... я, наверное, закрою глаза навеки... и я уже никогда больше не увижу... ни вас... ни ее...

Она перебила его; сердце у нее разрывалось.

— О, замолчите!.. Замолчите!.. Да, я обещаю вам, что приведу ее.

— Клянётесь?

— Клянусь, друг мой!.. Но замолчите, не говорите больше. Вы так меня мучаете!.. Замолчите!

Быстрая судорога пробежала по его лицу. Потом он сказал:

— Нам остается провести наедине всего несколько минут, не будем же терять их, воспользуемся ими, чтобы проститься, Я так любил вас!..

— А я... как я люблю вас до сих пор! — вздохнула она.

— Я узнал счастье лишь с вами, — продолжал он. — Правда, последние дни были ужасны... Но это не ваша вина... Ах, бедная моя Ани!.. Как порой бывает печальна жизнь!.. И как тяжело умирать!..

— Замолчите, Оливье, умоляю вас!

— Я был бы так счастлив, если бы у вас не было дочери... — не слушая ее, говорил он.

— Молчите!.. Боже мой! Молчите!.. Он, казалось, скорее думал вслух, нежели говорил с нею.

— Тот, кто выдумал эту жизнь и создал людей, был или совсем слеп, или очень зол...

— Оливье, умоляю вас!.. Если вы хоть когда-нибудь любили меня, замолчите!.. Не говорите так больше!

Он пристально посмотрел на склонившуюся к нему женщину с таким мертвенно-бледным лицом, что сама она походила на умирающую, и замолк. Тогда она села в кресло, вплотную придвинула его к кровати и снова взяла руку Бертена, лежавшую на простыне — Теперь я запрещаю вам говорить, — сказала она — Не шевелитесь больше и думайте обо мне, как я думаю о вас.

Они снова принялись смотреть друг на друга, неподвижные, соединенные жгучим прикосновением рук. Она держала эту лихорадочно пылавшую руку и время от времени слабо сдавливала, а он отвечал на призыв, слегка сжимая пальцами ее руку. Каждое из этих пожатий о чем-то говорило им, вызывало в памяти частичку безвозвратно ушедшего прошлого, оживляло застывшие воспоминания об их любви. Каждое из этих пожатий было затаенным вопросом, и каждое было таинственным ответом, то были печальные вопросы и печальные ответы — эти «вы помните?» старой любви.

Во время предсмертного свидания, которое, вероятно, было последним, они мысленно пережили год за годом всю историю их отношений; сейчас в комнате слышалось только потрескивание дров.

Вдруг, словно пробудившись и содрогнувшись от ужаса, он сказал:

— Ваши письма!

— Что? Мои письма? — переспросила она.

— Я мог бы умереть, не уничтожив их.

— Ах, какое это имеет значение! — вскричала она. — До того ли мне теперь? Пусть их найдут, пусть их прочтут, мне это совершенно безразлично!

— А я этого не хочу, — возразил он. — Встаньте, Ани. Откройте нижний ящик письменного стола — большой ящик, — они все там, все. Возьмите их и бросьте в огонь.

Она не двигалась; она сидела, съежившись, словно он толкал ее на подлость.

— Ани, умоляю вас! — снова заговорил он. — Если вы этого не сделаете, вы измучаете меня, вы не дадите мне покоя, вы доведете меня до безумия. Подумайте: ведь они могут оказаться в руках первых попавшихся людей — в руках нотариуса, лакея... даже в руках вашего мужа. Я не хочу этого. Она нерешительно встала.

— Нет, это слишком тяжело, слишком жестоко. У меня такое чувство, будто вы требуете, чтобы я сожгла наши сердца. Он продолжал умолять ее, и лицо его было искажено страданием.

Видя, что он так мучается, она покорилась и подошла к столу. Открыв ящик, она увидела, что он до краев полон письмами, рядами лежавшими одни на других, и на всех конвертах она узнала две строчки с адресом — строчки, которые она так часто писала! Эти две строчки — имя адресата и название улицы — она знала так же, как свое собственное имя, как мы должны знать те несколько слов, в которых были сосредоточены все надежды, все счастье нашей жизни. Она смотрела на эти маленькие четырехугольнички, которые хранили все, что она сумела сказать о своей любви, все, что она могла оторвать от себя и послать ему в нескольких каплях чернил на белой бумаге.

Он попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на нее, и еще раз сказал:

— Сожгите их как можно скорее.

Она взяла две пачки; несколько мгновений она держала их в руках. Они казались ей тяжелыми, скорбными, живыми и мертвыми: ведь там, внутри, было так много всего — столько радостей, чувств, мечтаний, — всего, чему теперь настал конец. Это была душа ее души, сердце ее сердца, сущность ее любящего существа — вот что сейчас держала она в руках и вспоминала, в каком исступленном восторге писала она некоторые из них, как она была воодушевлена, как упивалась сознанием, что живет, что

обожает кого-то, что может ему об этом сказать.

— Сожгите, сожгите их, Ани! — повторил Оливье. Одним взмахом обеих рук она швырнула обе пачки в камин, и листки, упав на дрова, рассыпались. Затем она выхватила из ящика другие письма и кинула их поверх первых, потом, мгновенно нагибаясь и выпрямляясь, быстро побросала остальные, чтобы поскорее покончить с этим ужасным делом.

Когда камин наполнился, а ящик опустел, она продолжала стоять в ожидании, глядя, как почти потухший огонь ползет по краям этой горы конвертов. Он нападал на них сбоку, обгрызал углы, пробегал по краям бумаги, угасал, снова вспыхивал, разгорался. Вскоре всю эту белую пирамиду опоясало живое яркое пламя, залившее комнату светом, и этот свет, озарявший стоявшую женщину и лежавшего мужчину, был их сгоравшей любовью, любовью, превращавшейся в пепел.

Графиня обернулась и в этом ярком отблеске буйного пламени увидела, что ее друг склонился над краем постели; он смотрел на нее блуждающим взглядом.

— Все? — спросил он.

— Да, все.

Но прежде, чем вновь подойти к нему, она бросила последний взгляд на эту гекатомбу и увидела, что по куче полусожженной, уже свернувшейся и почерневшей бумаги льется что-то красное. Можно было подумать, что это струйки крови. Казалось, они текли из самого сердца писем, из каждого письма, словно из раны, и тихо скатывались в пламя, оставляя за собой пурпурный след. Графиня почувствовала, что сердце ее заколотилось от какого-то сверхъестественного ужаса, она отшатнулась, как если бы у нее на глазах кого-то убили; потом она поняла, она вдруг поняла, что это просто таяли сургучные печати.

Она снова подошла к больному и, осторожно приподняв его голову, бережно положила на середину подушки. Но он пошевелился, и боли усилились. Теперь он задыхался, лицо его исказилось от жестоких страданий, и казалось, он уже не сознавал, что она здесь.

Она ждала, чтобы он хоть немного успокоился, поднял крепко сомкнутые веки, сказал ей еще какое-то слово. Наконец она спросила:

— Вам очень больно?

Он не отвечал.

Она наклонилась к нему и прикоснулась пальцем к его лбу, чтобы заставить взглянуть на нее. И он открыл глаза, страшные, безумные глаза.

— Вам больно?.. — с ужасом повторила она. — Хотите, я позову... Оливье! Отвечайте же! Сделайте усилие, скажите мне что-нибудь!..

Ей показалось, будто он пролепетал:

— Приведите ее... вы поклялись мне...

И он заметался под простыней, тело его извивалось, на лице застыла гримаса боли.

— Оливье! Боже мой! Оливье, что с вами? — повторяла она. — Хотите, я позову...

На этот раз он услышал ее.

— Нет... ничего... — отвечал он.

Он словно в самом деле успокаивался и уже не так жестоко страдал; внезапно на него нашла какая-то сонная одурь. Надеясь, что он уснет, она снова села у постели, взяла его руку и принялась ждать. Он больше не двигался, подбородок его опустился на грудь, рот был полуоткрыт: он часто дышал, и казалось, что при каждом вздохе у него саднило в горле. Только пальцы время от времени непроизвольно шевелились, слабо вздрагивали, и графиня чувствовала, что волосы у нее становятся дыбом; она тряслась так, что ей хотелось закричать. Это были уже не те сознательные нежные пожатия, которые вместо усталых губ рассказывали о всех мучениях их сердец, — это были неутихающие судороги, говорившие лишь о физических страданиях.

Теперь ее охватил страх, безумный страх и неодолимое желание убежать, позвонить, позвать кого-нибудь, но она не смела пошевелиться, чтобы не потревожить его покой.

С улицы доносился отдаленный стук экипажей, и она прислушивалась, не прервется ли этот грохот колес у дверей дома, не вернулся ли муж, чтобы вырвать ее отсюда, освободить ее, положить конец этому трагическому пребыванию наедине с умирающим.

Когда она попыталась высвободить свою руку из руки Оливье, он сжал ее, испустив глубокий вздох. Тогда она стала покорно ждать, чтобы ничем его не потревожить.

Огонь умирал в камине под черным пеплом писем; две свечи догорели; мебель потрескивала.

Все в доме безмолвствовало, все, казалось, вымерло, и только высокие фламандские часы на лестнице мерно вызванивали половины и четверти и играли в ночи марш времени, модулируя его на своих разноголосых колокольчиках.

Графиня сидела неподвижно, чувствуя, как в душе ее растет невыносимый ужас. Ее осаждали видения, ей мерещились страхи; ей вдруг показалось, что пальцы Оливье холодеют в ее руке. Неужели это правда? Не может быть! Но откуда же это невыразимое ощущение ледящегоо

прикосновения? Не помня себя, она привстала и посмотрела на его лицо.

Он лежал, вытянувшись, безучастный, бездыханный, равнодушный ко всем страданиям, внезапно умиротворенный Вечным Забвением.

notes

Примечания

1

Великосветское общество (англ.).

«Отче наш» и «Богородица» (лат.).

Баню (арабск.).